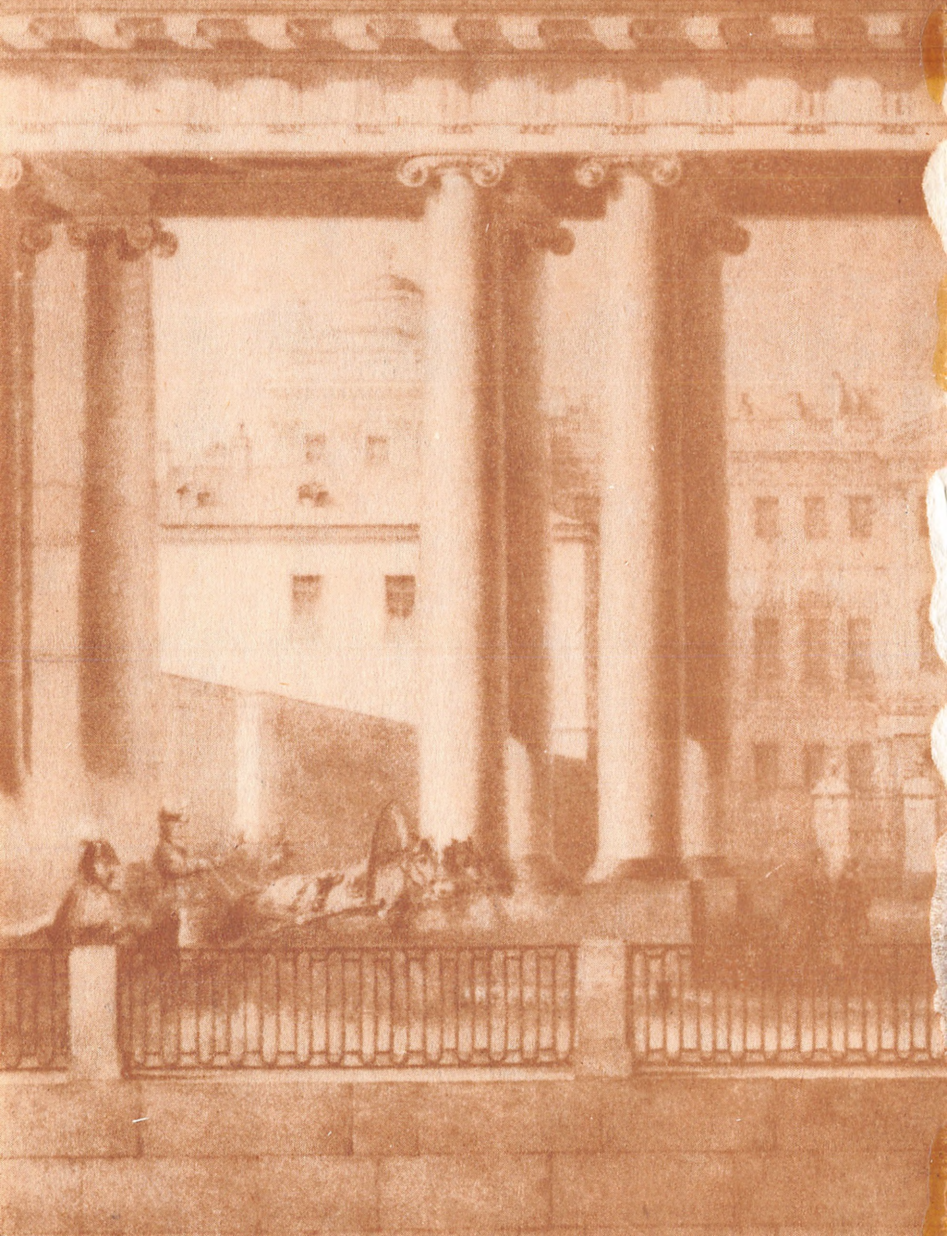
Александра Арапова



Наталья Николаевна
ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ



К 200-летию со дня рождения А. С. ПУШКИНА

Александра Арапова

Наталья Николаевна ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ



Игрив прохладен —

ложа нов

Александра Арапова

/Рожд. Ланская/

Наталья Николаевна
Пушкина-Ланская

К семейной хронике
жены А. С. Пушкина

МОСКВА 1994

Текст печатается по иллюстрированному приложению к газете «Новое время»: декабрь 1907 года №№ 11406, 11409, 11413, 11416, 11421; январь 1908 года №№ 11425, 11432, 11435, 11442, 11446, 11449.

СОСТАВИТЕЛЬ, АВТОР ПРИМЕЧАНИЙ И ПОСЛЕСЛОВИЯ

Г. ПИКУЛЕВА, кандидат искусствоведения

РЕДАКТОР-КОНСУЛЬТАНТ

Ю. БЫЧКОВ

Составитель и редактор считают необходимым сохранить орфографию авторского оригинала.

Часть средств, полученных от реализации книги, будет направлена в Московский фонд культуры для поддержки пушкинской программы.

ISBN — 5-7387-0034-1

Вместо предисловия



Так часто в газетных статьях, литературных изысканиях появлялись не только несправедливые, но зачастую и оскорбительные отзывы о моей матери, что в сердце моем давно зрела мысль высказать всю правду о ея так трагически сложившейся жизни.

Перед безпристрастным судом истории и потомства я попытаюсь возстановить этот кроткий, светлый облик таким, как он запечатлелся в тесном кругу семьи и редких преданных друзей. Влюбленный муж с чуткостью гениального поэта охарактеризовал свою «Мадонну»:

«Чистейшей прелести, чистейший образец» — и на это сияние тщетно посягала легковерная, праздная толпа.

В предсмертных муках, омыв кровью свою будто бы поруганную честь, Пушкин ясно сознавал, какое тяжелое бремя он, необузданным порывом,

взвалил на плечи неповинной жены: «Бедная! ее заедят!» — с любовью заботясь о ней, поручал он ее своим близким друзьям.

И зловеще оправдалось пророческое слово! Она не принадлежала к энергичным, самостоятельным натурам, способным себя отстоять. Налетевший ураган надломил ея пышно-расцветшую молодость, и с той поры вся ея жизнь улеглась в тесную рамку кротости и смирения. Она была христианкой в полном смысле этого слова. Грубыя нападки, ядовитые уколы уязвляли неповинное сердце, но горький протест или ропот возмущения никогда не срывался с ея уст. Единственный только раз укором прозвучал вырвавшийся вопль измученной души, и пол-века спустя он еще явственно раздается в моей памяти.

В ея присутствии отец строго остановил меня за осуждение какого-то лица, слишком резко выраженное в мои юные годы, и в заключение добавил:

— Кажется, на что тебе лучше пример в глазах: довелось ли тебе когда-нибудь услышать от матери про кого-либо дурное слово?

— Да, это правда, а тем не менее пощадил ли меня кто-нибудь?

И теперь еще в моем воображении стоит чудный облик с безпомощно склоненной головой.

Смерть своим таинственным покрывалом сглаживает все, умиротворяя самую страстную вражду. Недаром людская мудрость изрекла: de mortuis aut bene — aut nihil, а христианская церковь обещает своим верным последователям «вечный покой». Для моей матери закон этот был нарушен, — вероятно, и еще будет нарушаться.

Целую бурю негодования вызвало опубликование писем Пушкина к ней. Чутким сердцем она ее предугадала и поставила непременным условием, чтобы они появились только по смерти моего отца, боготворившаго ея светлую память. Нам, ея детям, — как Пушкиным, так и Ланским, — эта газетная травля принесла много тяжелаго горя.

В этом сонме ученых, философов, литераторов не нашлось человека, которому бы здравый смысл и жизненный опыт подсказал ту простую истину, что только женщина, убежденная в своей безусловной невинности, могла сохранить (при сознании, что рано или поздно оно попадет в печать) то орудие, которое в предубежденных глазах могло обратиться в ея осуждение.

Пушкин в письмах укорял жену в кокетстве, легкомыслии, пристрастии к светской жизни... Это был лишь отголосок той среды, где она

вращалась, плоды воспитания первой половины прошлаго века, но до нравственного падения тут была целая пропасть. Будь она в самом деле преступна, неужели она бы так доверчиво бросила на суд толпы доселе скрытыя стороны своей семейной жизни, изведав в течение стольких лет муку, причиненную ей злобными подозрениями тех,кто ей приписывал преждевременную смерть мужа, – и какого мужа! Гения, оплакиваемого всей страною! Мне сдается, по простой женской логике, что именно эта супружеская переписка должна была восстановить в полном блеске добрую память матери, а не вызвать той жестокой оценки, тех комьев грязи, которые безжалостно осыпали ея священную для нас могилу.

Еще с молодых лет меня преследовало желание описать жизнь матери по семейным преданиям, начертить ее духовный облик так, как он запечатлелся в моей восемнадцатилетней голове, – и это побудило меня к первому опыту литературного труда. Современники отнеслись к нему снисходительно, но тем не менее я остановилась на пути. Слишком близок к сердцу был сюжет, слишком тяжела ответственность не совладать с преследуемою целью. То смущала мысль: зачем тревожить дорогую тень, так измученную воспоминаниями прошлого, так всегда стремившуюся к безвестности и успокоению? То возникал вопрос: какую силу убеждения может иметь безхитростный разсказ дочери? Всякий волен подумать, что правда и истина невольно растворяются в чувстве благоговейной привязанности.

Теперь, когда я перешагнула шестой десяток лет, – в виду близкой могилы, сомнения улеглись. Не хочу унести с собой то, что может вызвать интерес в грядущем поколении. Бессмертное имя Пушкина продолжает сиять по-прежнему даже в страждущей России, а память матери неразрывно связана с ним...

В этих строках прозвучит только правда, и я верю в ея мощь. Может быть, в чьем-либо воображении навеянный облик бездушной, легкомысленной красавицы сменится изображением кроткой, страдающей жены, любящей, преданной до самозабвения матери – тогда я буду у цели и, сомкнув усталые глаза, радостно скажу: «Не даром прожила!»

I

Наталья Николаевна Гончарова родилась 27 августа 1812 года в майоратном имении «Полотняные Заводы» в Калужской губернии, под доходивший гул Бородинской битвы. Она всегда говорила, что исторический день лишает ее возможности забыть счет прожитых годов. Все воспоминания ея ранняго детства сосредоточивались в этом родном гнезде; в ту пору еще сохранявшем безумную роскошь милионного состояния Гончаровых, доведеннаго до полнаго разстройства расточительностью ея деда Афанасия Николаевича.

Одним из первых пионеров русской промышленности был ея прапрадед, Афанасий Абрамович, крестьянин-самородок, обративший на себя внимание Великого Петра своей гениальной предприимчивостью. С его помощью он основал первый завод, на котором изготовлялись полотна для парусов; за успехом этого завода Царь следил, несмотря на все свои государственныя заботы.

В семейном архиве сохранился автограф Петра, писанный из Голландии, в котором он уведомляет Гончарова, что нанял там и высылает ему мастера, опытнаго в усовершенствовании полотен, а если выговоренная плата покажется ему слишком высокой, то он готов половину принять за счет царской казны.И в каждом важном случае Гончаров свободно прибегал к доступному всем Преобразователю России, никогда не отказывавшему ему в наставлении или добром совете. Работая не покладая рук, развивая и улучшая насажденное им производство, Афанасий Гончаров умер, на твердом основании утроив свое богатство. Сын его, верный заветам отца, продолжал ту же трудовую жизнь. Поместья покупались, оборотный капитал рос с каждым годом, доходы баснословно увеличивались до рождения Афанасия Николаевича, деда Натальи Николаевны.

Единственный сын, балованный, легко увлекающийся, — он с молодых лет поддался растлевающему влиянию екатерининской эпохи, а со смертью отца, став полным властелином, он сбросил обузу дел на руки управляющих, а сам признал достойной себя заботой только планы, как пышнее обставить свою жизнь, или как придумать какую-нибудь

еще неизведанную забаву. Сокровища, накопленныя до него, казались ему неистощимыми. Императрица Екатерина, путешествуя по России, обещала ему посетить Полотняные Заводы, и новыя причудливыя постройки выросли из земли, чтобы достойно принять высокую гостью. Ничего не пожалели, чтобы разукрасить покои на самый вычурный, роскошный заграничный лад. Гончаровская охота славилась чуть не на всю Россию, а оркестр из крепостных, обученный выписными маэстро, и в столицах мог бы занять почетное место. Все эти затеи еще покрывались доходами с заводов и имений, пока тяжелый, наследственный недуг не обрушился на жену Афанасия Николаевича, Надежду Платоновну, урожденную Мусину-Пушкину. Она сошла с ума, и не сдерживаемый более ее влиянием, он, уже на склоне лет, предался с юношеской необузданностью страсти к женщинам. Казалось, красавица-любовница всецело завладевала его сердцем и волею; он ничего не жалел для малейшей ее прихоти, но случай наталкивал его на другую, и он моментально охладевал, думал только, как бы поскорее сбыть с рук. Подсовывал жениха, если была незамужняя, отписывал дом в Москве или крупную вотчину и одновременно все пускал в ход, чтобы достигнуть новой цели. Чем намеченный предмет был, или притворялся недоступнее, — тем страсть разжигалась сильнее, и соблазняющия жертвы принимали все более крупные размеры. Дома и имения если не раздаривались, то продавались за бесценок в минуту нужды. Из крупного оборотного капитала постоянно делались заимствования, что не могло не повлиять на успешный ход фабрик. Весьма скоро объемистые, из доморощенного полотна, туго набитые золотом мешки, громоздившиеся по углам кабинета владельцев, так привычные взорам гончаровской челяди, успели отойти в область легенды.

У Афанасия Николаевича был только единственный сын, в котором он и жена его души не чаяли. Высокий, стройный, с классически-правильными чертами лица, богато одаренный природой, он рос им на радость, окруженный самыми нежными заботами. По повелению императрицы Екатерины, с самаго рождения он был зачислен капралом в Конный полк, но эта высокая, по тогдашним понятиям, милость не пришлась по вкусу его матери. Она находила, что единственный наследник крупного майората не может подвергаться тягостям и лишениям, нераздельным с военной службой.

Тщетно рвался Николай Афанасьевич к улыбавшейся ему карьере: мать оставалась непреклонна, и это взбалмошное сопротивление оставило горький след во всей его жизни. Но взамен она приложила все старания, чтобы его домашнее образование было на уровне самых высоких требований того времени. Лучшим доказательством может послужить выдающаяся роль на государственном поприще, выпавшая на долю юных товарищей Гончарова, взятых ею в дом с целью доставить постоянное общество одиноко растущему мальчику. Это были дети многосемейных, бедных помещиков-соседей, выросшие под гостеприимным кровом, разделявшия как занятия, так и забавы юнаго наследника, определенные потом его родителями на службу, ими избранную.

Один, Чернышев, поступил в Конный полк, оказавшийся запретным для Николая Афанасьевича. Здесь Чернышев вскоре сумел выделиться умом, ловкостью, образованием, и впоследствии обратил на себя внимание императора Александра, прославившись удачной мисией в Париже. Он дослужился до поста военнаго министра, награжден был княжеским титулом и умер в преклонных годах, достигнув зенита почестей и богатства.

Другой, Бутенев, поступил в иностранную колегию, где сумели оценить его способности; шаг за шагом восходил он по дипломатическим ступеням и достиг посланнического поста.

И по мере того, как восходила звезда гончаровских воспитанников, все тускнела злосчастная жизнь их единственнаго сына. В кратких просветлениях рассудка, Николай Афанасьевич отдавал себе отчет о превратности судьбы, постигшей трех друзей. Самым близким человеком был для него Чернышев, но, выбившись на блестящий путь, его товарищ детства задался целью забыть скромность своего происхождения и изгладил из памяти все, чем был обязан Гончаровым. Не довольствуясь тем, что давно прервал с ними всякие отношения, он, в течение долгих лет, встречаясь постоянно с Натальей Николаевной при Дворе и в свете, ни единым словом никогда не осведомился о ея больном отце. Даже более того: она ясно чувствовала в вельможе-фаворите скрытую враждебность, вызываемую тенью унизительнаго для его тщеславия детства. Эта безсердечность болезненно отзывалась в Николае Афанасьевиче, и он до такой степени страдал, что впоследствии достаточно было произнести в его присутствии имя Александра Чернышева, чтобы тотчас вызвать буйный припадок.

Поведение Чернышева как бы еще более подчеркивалось противоположным отношением Бутенева к другу юности. Он не только переписывался с ним, но сохранил до смерти благодарную память о приютившей его семье и не упускал ни единаго случая доказать это на деле. Заброшенный судьбою за границу, он, при всяком возвращении на родину, считал долгом нарочно съездить в Москву (а за отсутствием железной дороги это что-нибудь да значило), чтобы посетить беднаго страдальца, всегда радостно встречавшего его. Трогательны были эти свидания, и с невыразимой скорбью вспоминал Бутенев о своем несчастном друге, молодость котораго сияла ослепительным блеском, так быстро сменившимся неприглядной тьмой.

Когда окончилось воспитание Николая Афанасьевича, его номинально зачислили в какую-то колегию, но Надежда Платоновна продолжала держать его в Москве под крылышком, чтобы вернее уберечь от возможных увлечений.

Еще совсем юношей, он встретил в аристократических гостиных Наталью Ивановну Загряжскую, прославленную своей редкой красотой, и влюбился в нее с неудержимой страстью первой любви. Брак их, суливший обоим столько счастья, был скоро заключен к радости обеих семей.

За последние годы в газетных статьях появились разсказы и историческия справки о роде Загряжских, искажающия истину, и потому мне кажется уместным возстановить семейную хронику во всем правдивом освещении событий.

Загряжские очень гордились как знатностью своего происхождения, так и влиянием при Дворе, не раз выпадавшим им на долю. Дед Натальи Ивановны, Александр Артемьевич Загряжский, был женат на Екатерине Александровне Дорошенко, внучке, по старшему сыну, последняго независимаго гетмана Малороссии. При присоединении этого края, царь Алексей Михайлович дал на прокормление знаменитому вождю запорожцев обширную волость под Москвою, которая и поныне сохранилась в его потомстве, — селю Ярополец, в Волоколамском уезде. Только в 1717 году эта вотчина раскололась на две части. Наследство Александра Петровича, с могилой гетмана, досталось его единственной дочери и, как приданое, перешло к Загряжским, а не женатый брат его Петр оставил все свое состояние графине Чернышевой, с которой, по семейной молве,

он был в связи. Впоследствии этот второй Ярополец был обращен в майорат, перешедший по женской линии графам Чернышевым-Кругликовым, владеющим им и теперь.

Другой Загряжский, дядя Натальи Ивановны, замечательный красавец, утонченный вельможа екатерининских времен, был женат на Наталье Кириловне Разумовской, дочери гетмана, в начале прошлаго века известной всему знатному Петербургу оригинальностью своего ума и непреклонностью воли, породившей даже конфликт с императором Павлом. Породнившись с ней, Пушкин часто навещал ее, черпал в ея воспоминаниях материал для исторических трудов и умел ценить ея самобытную натуру. Но любопытнее всего было рождение и детство самой Натальи Ивановны.

Отец ея, молодой, блестящий гвардеец, служил в Петербурге и среди распущеннаго общества не раз выделялся своими необузданными выходками, которыя благополучно сходили ему с рук. Думая обуздать эту пылкую натуру, его женили на баронесе Строгановой, — в расчете, что ея крупное состояние поправит его расшатанныя дела, а влияние умной, добродетельной жены понемногу остепенит. Но Загряжский увидел в этом браке лишь средство зажить на более широкую ногу, еще неудержимее предаться карточной игре. Через немного лет совместной жизни, под предлогом, что служба не дозволяет ему заниматься делами, а без хозяйскаго глаза обойтись нельзя, — он отвез жену в принадлежащий ему Ярополец, поселил ее с детьми в только что отстроенном под наблюдением Растрелли прекрасном дворце, а сам вернулся к веселой холостой жизни, лишь после долгих промежутков и на короткий срок появляясь в семье.

Тем временем затянулась война и полк Загряжского был двинут к прусской границе. Не знаю, по какой причине, но его отряду выпала продолжительная стоянка в Дерпте. Лифляндские бароны радушно чествовали русских офицеров; балы и обеды чередовались в окрестных замках, и на одном из этих пиров, у самого влиятельнаго, гордаго и богатаго из феодалов, барона Липгардта, Загряжский впервые увидел его красавицу-дочь, слывшую самой завидной невестой всего края. Влюбиться с места и до безумия было свойством натуры женатого повесы; он отлично понимал, что добиться успеха обычным путем у этой чистой девушки, воспитанной в самой строгой нравственности в недоступном кругу, — прямо

немыслимо, но преград для него не существовало. Он упросил легкомысленных товарищей ни слова не проронить о его женитьбе и принялся ухаживать за молодой баронесой со всем пылом страсти и опытом искуснаго ловеласа. Когда он убедился в вызванной взаимности, то без малейшаго стеснения официально обратился к Липгардту, сватаясь к его дочери.

Отказ последовал в вежливой, но безповоротной форме. Различие национальности и религии не допускало мысли о подобном союзе, и барон закрыл ему доступ в дом, а дочери запретил даже думать об отверженном претенденте. Но она принадлежала к тем возвышенным, экзальтированным натурам, которыя, раз отдавши сердце, не способны его отобрать, а Загряжский тонко изучил трудную науку — тактику любви. Все было пущено в ход, и когда вскоре мир был подписан, и полк должен был выступить обратно в Петербург, молодая баронеса не устояла перед тяжестью вечной разлуки и сдалась его мольбам. Она бежала из отцовского дома и подкупленным священником была обвенчана в скромной русской церкви со своим избранником, хорошо зная, что ни один лютеранский пастор не решился бы своим благословением навлечь на себя мстительный гнев всесильнаго, оскорбленнаго барона.

Покинув навсегда Дерпт после рокового шага, новобрачная написала отцу, умоляя его о прощении, описывала всю силу их обоюдной любви и терзания, причиненныя ей его непреклонным решением. Барон остался верен себе. Он даже не ответил, а через приближеннаго уведомил, что баронеса Липгардт умерла для него и всей его родни, и потому дальнейшия извещения об опозоренной авантюристке будут вполне излишни.

Молодая женщина поняла, что к прошлому возврата нет после подобнаго разрыва и всеми силами души привязалась к легкомысленному супругу, который один должен был заменить все. Может быть, в силу этой возвышенной всепоглащающей любви, столь противоположной его развращенной натуре, или, проще, вследствие удовлетворения физической страсти, но достоверно только, что из многочисленных романов Загряжскаго самым скоротечным было увлечение так нагло обманутой девушкой.

Вскоре по прибытии в Петербург он сообразил всю безвыходность своего положения. Ввести в круг своих знакомых вторую жену при жизни первой вызвало бы негодование Строгановых, и при их влиянии и богатстве ему бы не сдобровать. Открыть карты и выдать обманутую жертву

за привезенную любовницу? Но он также хорошо знал, что ему не укрыться от мести возмущенной немецкой знати, всегда сплоченной в защиту кастовых интересов, и, несмотря на всю его изворотливость, способной подвести его под строжайшую кару. Необходимо было схоронить концы в воду, и Загряжский задумал смелый план, который никому другому не пришел бы на ум.

В один злополучный день покинутая жена, томившаяся неведением в течение долгих месяцев, была радостно встревожена заливающимся звонком колокольчиков. Целый поезд огибал цветочную лужайку перед домом, и из первой дорожной берлины выпрыгнул ея нежданный муж, и стал высаживать сидевшую рядом с ним молодую красавицу. Лучшим доказательством прелести ея лица может служить следующий факт, анекдотически передаваемый в семье.

Когда случился пожар в Зимнем Дворце, то вызванным войскам было поручено спасать только самыя ценныя вещи из горевших апартаментов. Один офицер, проникший в комнаты фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской, был поражен стоявшей в комнате миниатюрой, изображавшей обаятельную голову в напудренной прическе, и инстинктивным движением схватил и унес ее. Оправлена она была в незатейливую черепаховую рамку. Впоследствии, при сдаче вынесенных вещей в дворцовую контору, принимавший чиновник, недоумевая, осведомился, что побудило офицера спасти столь маленький, ничтожный предмет.

— Да вглядитесь хорошенько, — и вы поймете тогда, что я не мог оставить изображение такой редкой красавицы в добычу огню!

Миниатюра была возвращена владелице. После ея смерти она досталась моей матери, которая, указывая на нее, говорила, что люди, знавшие Наталью Ивановну в молодости, твердили ей, что ей не тягаться красотой с матерью, а Наталья Ивановна, в свою очередь, повторяла, что не помнила свою мать, но выросла в предании, что хотя и напоминала ее чертами лица, но и сравниваться с ней не должна.

Винюсь в отступлении и продолжаю прерванный разсказ.

В обширных сенях ярополецевскаго дома произошла встреча так жестоко оскорбленных женщин. С легким сердцем и насмешливой улыбкой на устах произвел Загряжский еще невиданный coup de théâtre, представив обманутую жену законной супруге. Это ошеломляющее открытие так рас-

ходилось с семейными понятиями нравственных баронов, что молодая женщина не могла придти в себя, приписывая все случившееся роковому наваждению, но когда неумолимый язык всей обстановки, присутствие двух дочерей-подростков и резваго мальчугана-сына убедили ее в несомненности разбитой жизни и в полной безсердечности человека, в котором сосредоточивался весь ея мир, она, как подкошенный цветок, упала к ногам своей невольной и почти столь же несчастной соперницы.

Загряжский был не охотник до раздительных сцен. «Бабье дело, — сами разберутся!» — решил он. Приказав перепречь лошадей, даже не взглянув на хозяйство, а только допустив приближенную дворню к руке, поцеловав разсеянно детей, он простился с женой, поручив ея христианскому сердцу и доброму уходу все еще безчувственную чужестранку, — и укатил в обратный путь. Разсчет его оказался верен и , пожалуй, лучшаго исхода для несчастной жертвы его сладострастия нельзя было найти.

Поруганное чувство, уязвленное самолюбие ожесточают только мелкия или посредственныя натуры. Возвышенныя же очищаются подвигом страдания, как металл в горниле, и с простотой, вызывающей подчас недоумение, способны на забвение личнаго горя в заботливом утешении одиноко страждущих. К таким-то светлым личностям принадлежала первая жена Загряжского. Одного поверхностнаго взгляда было ей достаточно, чтобы оценить всю чистоту души соперницы, чтобы чутким сердцем измерить глубину горя, сломившаго ея молодую жизнь.

Грех ея мужа возстал перед ней во всей своей неприглядности, и она поставила себе задачей загладить его по мере сил. Почти вдвое старше обманутой женщины, так безпощадно заброшенной, она окружила ее материнской лаской, и только благодаря ея постоянному уходу, она могла выдержать тяжелую болезнь, вызванную роковым ударом, и через несколько месяцев по приезде, на ея же руках, родить дочь, названную Наталией.

С той поры все соседи, к которым мало-по-малу проникла тайна увоза и кощунственного брака юной баронесы, только диву дивились трогательному согласию, царившему между покинутыми изгнанницами.

Самая нежно-любящая мать не могла бы изощриться в этой постоянной ласке, в горьком опыте черпая слова утешения, пытаясь зажечь луч надежды хоть в далеком будущем, когда собственная ея смерть послужила бы к устранению двусмысленнаго положения.

Но судьба решила иначе. Пережитое горе разрушило нежный организм; она зачахла, как цветок, пересаженный на чуждую почву, и ясно глядя на приближающуюся освободительницу-смерть, поручила Загряжской свою малютку-дочь. И, просветленная прощением, изстрадавшаяся душа отлетела в лучший мир.

Не напрасна была ея надежда. Мало того, что Загряжская так привязалась к сиротке, что не делала никакого различия между нею и собственными дочерьми, но приложила все старания, при помощи своей влиятельной родни, чтобы узаконить рождение Натальи Ивановны, оградив все ея наследственныя права, в то время этого было не легко достигнуть. Да, впрочем, в последнем отношении и хлопотать, повидимому, не стоило. Когда Загряжский окончил в Петербурге свою безшабашную жизнь, прожив и Строгановское приданое и личное состояние, — из всех богатств точно чудом уцелел один Ярополец, и то страшно обремененный долгами.

Жена скончалась до него, оставив, кроме сына Григория, трех дочерей: Екатерину, Софию и Наталию, — последнюю значительно моложе других, — в весьма тяжелом материальном положении.

Большую часть времени они проживали в деревне, отказывая себе во всем, чтобы иметь возможность повеселиться в Москве, с затаенной надеждой устроить там свою судьбу. Годы быстро проходили; некрасивые дочери Строгановой видимо блекли, когда Наталья Ивановна в полном расцвете красоты, обратила на себя внимание Николая Афанасьевича Гончарова, одного из самых завидных московских женихов, и брак ея радостным лучом пригрел разоренную семью. Вскоре Екатерина Ивановна была назначена фрейлиной к императрице Марии Федоровне, а София Ивановна переселилась к новобрачным, что впоследствии послужило поводом и к ея личному счастью.

II

Медовый месяц и первые годы протекли для четы Гончаровых в упоении любви и радостной безоблачной жизни, но мало-по-малу зловещия тучки появились на небосклоне.

Афанасий Николаевич, отдаляя сына от дел, тем самым скрывал от него значение его безумных любовных трат, и несмотря на некоторую задержку в получении определенных сумм, или даже отказ в непредвиденных субсидиях, — молодой человек слепо веровал в неприкосновенность милионнаго состояния, до той неизбежной минуты, когда старик, потеряв голову в виду приближения грозной катастрофы, решил открыть ему всю правду, и, с присущим ему эгоизмом, не задумался свалить тяжелую обузу запутанных дел и подорванного кредита на его неопытные плечи, а сам тотчас же укатил за границу, где и поселился на несколько лет.

Николаю Афанасьевичу эта задача оказалась по плечу. Он без всякаго сожаления отказался от праздной московской жизни, переселился с семьей на Полотняные Заводы и с неутомимой энергией, напоминавшей прадеда, принялся наводить порядки. Безшабашное растаскивание барского добра прекратилось всюду. Под зорким хозяйским оком фабрики опять заработали на славу. Хотя жизненный обиход стоял на прежней широкой ноге, но баснословныя затеи и причуды не шли на ум, и основы состояния были до того прочны, что после пятилетняго упорного труда Николаю Афанасьевичу удалось залечить все отцовские прорухи. Он акуратно высылал ему условленное содержание, тщательно наблюдал за уходом за больной матерью и, глядя на своих подростающих детей, тешил себя мыслью, что своим трудом предотвратил крушение и упрочил их будущность.

Как раз в это время наполеоновская война нарушила мир и равновесие Европы. Была ли это причина, или только подходящий предлог, но старик Гончаров, несмотря на увещания сына продолжить свое пребывание за границей, собрался в дальний путь и, — нечего таить правду, — нежеланным гостем появился у семейного очага. Взамен признательности к сыну, в сердце его запало семя оскорбленнаго самолюбия. Ему чудилось, что сын кичится перед ним своей деловитостью и умственным превос-

ходством, а многим приближенным, жаждущим снова половить рыбу в мутной воде, было как нельзя более выгодно разжечь затаенное недоброжелательство. Что смутно пугало Николая Афанасьевича, стало скоро совершаться.

От критики незаметно перешли к отмене даваемых им распоряжений. Молодое самолюбие возмущалось,страдало и с жгучим чувством обиды должно было стушеваться перед отцовской властью. Ежедневныя недоразумения и дрязги подрывали добрыя отношения и привели к тому, что старик окончательно устранил сына от всех дел, самонадеянно поиняв снова бразды управления.

Ни зловещий урок, ни года, ни скитания за границей ему впрок не пошли, и в эпоху рождения Натальи Николаевны жизнь на Полотняных Заводах снова пошла по старому, — своим безразсудством Афанасий Николаевич точно стремился наверстать степенно прожитые годы. Тяжело отзывалось это зрелище на впечатлительной, нервной натуре сына. Немым, безпомощным свидетелем следил он, как его труды разбивались впрах в угоду мимолетному капризу, безотрадная будущность снова нависла над его детьми, а их уже было пятеро: первенец и наследник майората Димитрий, Екатерина, Иван, Александра и новорожденная Наталия. Перед глазами облик страждущей матери, подверженной частым буйным припадкам, и по временам зловещий призрак наследственности, сказавшийся еще в ея двух братьях, — все складывалось, чтобы безпощадно терзать напряженный ум и наболевшую душу.

Тяжелый достопамятный двенадцатый год с тревогой о семье, приютившейся на Калужской дороге, так близко от поля сражения, с остановкою производства и торговли в то время, когда мотовство вело к погибели, — все вместе взятое, переполнило чашу испытаний и медленно подготовляло взрыв рокового, неизлечимаго недуга.

Французская кампания двумя событиями отразилась на семейной жизни Загряжских. Последнему отпрыску этого рода, служившему в гвардейском пехотном полку, было суждено не вернуться из похода. Старая наша няня, из дворовых Полотняного Завода, данная в приданое матери, когда она выходила замуж за Пушкина, рассказывала мне, что после одной из кровавых битв (имени ея она не помнила, а может быть и не знала) в наступивший момент перемирия, Григорий Иванович, сидя

на барабане, только что принялся пить стакан чая, как шальная картечь пронеслась в воздухе, угодила в него и разорвала пополам юношу-офицера. Этот разсказ так занял мое детское воображение, что я немедленно обратилась к матери, допытываясь новых подробностей, и мне еще теперь помнится ея ответ: — Удивительно, что люди хотят всегда все лучше знать самих господ! В семье никто не мог допытаться, как был убит дядя Григорий. Как ни хлопотала сестра его, Екатерина Ивановна, — другого ответа не было, как то, что он попал в список без вести пропавших. После сражения никто его ни живым, ни мертвым не увидел.

До своего преждевременнаго конца, Григорий Иванович был обречен на жизнь, полную лишений, но, точно по злой иронии судьбы, в скором времени его ожидало блестящее наследство. Родной брат его отца, — не смею утверждать, был ли это муж Натальи Кириловны, или другой, холостой, вполне равнодушный к горестной участи племянника и племянниц, — скончался, сохранив неприкосновенным свое значительное состояние, которое им и досталось по закону. На долю Натальи Ивановны Гончаровой пришелся при разделе уже упомянутый Ярополец, а чудное Тамбовское имение Загряжино, обогатив Софью Ивановну, преобразило бедную, стареющую деву в очень завидную партию.

Впрочем, сопоставлением чисел можно сделать вывод, что судьба ея была уже решена до получения дядюшкинаго наследства.

Во время отступления наполеоновских армий, нашим отрядом, конвоирующим пленных, был доставлен в гончаровский дом полуживой окоченелый офицер. Его приняли с русским радушием; несчастие заслонило вражду и весь женский персонал, при виде измученнаго плѣнника, наперерыв изощрялся в средствах вырвать из рук смерти уже намеченную жертву.

Пленный оказался уроженцем Сардинии, впоследствии известным на литературном поприще графом Xavier de Maistre. Ран он никаких не имел, но истощение южной натуры, подвергнутой тяжелым лишениям при невыносимой стуже, было до того велико, что борьба между жизнью и смертью затянулась на месяцы, и следы ея наложили отпечаток до самой могилы. Мало-помалу, отстраняя других, Софья Ивановна завладела правом исключительнаго ухода за больным, поддаваясь все сильнее обаянию его, на самом деле, выдающейся личности. Обширное образование служило достойной рамкой природному уму и тонкой наблюдательности,

и, что гораздо реже случается, сливалось с замечательною добротою и кротостью характера. Он, с своей стороны, оценил ея неустанную заботу и проблески более нежнаго чувства, тщательно скрываемаго, — и когда, по выздоровлении, должен был наступить час вечной разлуки, в голове его созрел план соединить их обоюдную зрелость, несмотря на опасения гнева семьи de Maistre, в особенности старшего брата, знаменитого Жозефа де-Местр, ярого католика и поборника иезуитов.

Это, может быть, была одна из причин, побудивших его променять свою знойную родину на наш неприглядный север. Софья Ивановна приняла с восторгом его предложение и, покинув гостеприимный гончаровский кров, переселилась с мужем в Петербург.

По возвращении из Парижа, император Александр I назначил ему аудиенцию, желая выразить участие зятю любимой фрейлины его матери, и, пораженный его бледностью и изможденным видом, он ласково заметил: — C'est la compagne de Russie gue vous a valu la perte de votre santé![1] и, движимый состраданием, назначил ему пенсию в две тысячи рублей, которую граф преисправно получал до самой смерти. Болезненный вид оказался прибыльным, — часто острили в семье, так как он умер, достигнув 90 лет, на несколько месяцев пережив жену, в 1851 году в Стрельне, в доме моих родителей, приютивших его одиночество, и похоронен в Петербурге, на Смоленском кладбище.

В то самое время, когда силой обстоятельств устраивалась дальнейшая судьба Софьи Ивановны, счастливая звезда Натальи Ивановны закатывалась навеки. Последним родился у нея сын Сергей, годом моложе моей матери, и почти одновременно гнетущая меланхолия мужа переродилась в более острую форму. Мысли путались, ясность сознания затмевалась, малейшее противоречие вызывало вспышки неудержимаго гнева. Все окружающие стали припоминать первые признаки заболевания Надежды Платоновны, и вскоре нельзя было более сомневаться, что наследственность заявила свое зловещее право.

Наталья Ивановна, в сопровождении домашняго доктора, собралась отвезти больного в Москву, но путешествие не обошлось благополучно.

---

[1] Из-за войны с Россией вы потеряли здоровье.

Беспокойство Николая Афанасьевича все росло, и где-то на постоялом дворе оно разразилось приступом бешенаго безумия.

Психическим больным свойственна странная черта: люди самые близкие, дорогие, почти мгновенно становятся им в тягость, и, чем сильнее была прежняя привязанность, тем ожесточеннее становится враждебность. То же превращение постигло и пламенную любовь к красавице-жене.

Следуя тогдашней, весьма распространенной моде, чтобы неизгладимо сохранить память блаженно прожитых дней, Николай Афанасьевич подвергся татуировке и на правом предплечьи воспроизведен был вензель жены с добавкой нежнаго символа. В неудержимом порыве ненависти, он изгрыз все мясо, чтобы стереть след прошлаго, и, причинив себе страшную, зияющую рану, в изнеможении впал в какой-то странный, летаргический сон. Так продолжалось более суток. Доктор, наблюдавший за ним, начинал питать надежду, что это послужит признаком выздоровления. Он ссылался на научные примеры, когда больной, предоставленный возрождающей силе природы, пробуждался просветленным, с смутным представлением пережитого кошмара. Но этим розовым мечтам суждено было разбиться о близкую грозную опасность.

Рана, за часы отдыха, страшно воспалилась, и опытному глазу не трудно было различить признаки надвигавшейся гангрены. Другого лечения тогда не признавали, как прижигание раскаленным железом. Немедленно полетел гонец в Москву за доктором, светилом науки и, когда он приехал, несчастной Наталье Ивановне предоставлено было решить грозную дилему: не тревожить благодетельный сон, может быть дарующий исцеление, но зато грозящий смертью, или, спасая жизнь, добровольно отказаться от хотя бы и туманной надежды. Для любящаго сердца колебаний не могло быть. Железо излечило видимую рану, обрекая несчастного на сорокалетнюю душевную муку.

Болезнь Николая Афанасьевича вызвала переселение всей семьи в Москву, в собственный дом, на Никитской, за исключением младшей внучки Наташи, к которой старик Гончаров успел сильно привязаться. Он настоятельно потребовал, чтобы ее оставили на его попечение. Постоянный надзор за больным мужем и заботы о многочисленной семье побудили Наталью Ивановну согласиться на это желание.

Самыя далекия и отрадныя воспоминания детства Натальи Николаевны возникали и связывались с этим пребыванием в Полотняных Заводах. Дед в ней души не чаял и, глядя на него, все прихлебатели и приживальщицы, вся многолюдная челядь наперерыв старались угодить ей. Не успевала она выразить желание, — как оно уже было исполнено. Самыя затейливыя, дорогия игрушки выписывались на смену не успевших еще надоесть; глаза разбегались, и апетит пропадал от множества разнообразных лакомств; от нарядов ломились сундуки, и все только вращалось около единой мысли: какую бы придумать новую лучшую забаву для общей любимицы. Она росла, словно сказочная принцеса в волшебном царстве!

На шестом году пробудилась она от очарованного сна, вступив в суровую школу. Смерть деда вернула ее в родную семью.[1]

Перемена обстановки глубоко врезывается в детскую память, и Наталья Николаевна до старости помнила все подробности московской встречи.

Стояла зима: ее на руках вынесли из возка, укутанную в драгоценную соболью шубу, крытую алым бархатом, и принесли в гостиную. Братья и сестры обступили ее, с любопытством разглядывая лицо, ставшее им чуждым. Мать сдержанно поцеловала и, с неудовольствием оглядывая дорогой наряд, промолвила:«Это преступление приучать ребенка к неслыханной роскоши!» Потом она сдала оробевшую девочку на руку нянюшек и строго заметила: «Первым делом надо Наташу от всего привитого к ней отучить».

И не прошло двух дней, как дорогая шуба, предмет общаго восхищения, преобразилась в «палатинки» и муфты для трех сестер, и младшей, хотя и законной обладательнице меха, досталась худшая из них.

— Даром, что маленькая, а все-таки очень уж обидно было! — завершила мать свой разсказ.

Дедушкино баловство ничуть не отразилось на мягком характере ребенка. Она безропотно подчинилась суровому режиму, заведенному в доме, и впоследствии выносила его гораздо легче старших сестер.

---

[1] В тексте А. П. Араповой неточность. Дед Н. Н. Гончаровой Афанасий Николаевич Гончаров умер в 1832 году./Прим. сост/.

Жизнь в Москве

Наружно жизнь Гончаровых была обставлена по прежнему, но, чтобы достичь этой возможности, внутренний обиход подвергался урезкам и лишениям. Об обновках думать не приходилось, а надо было донашивать то, что становилось непригодным старшим; не только выражение какого-нибудь желания, но необдуманная ссылка на прошлое ставилась в вину; не только детский каприз, но проявление шумнаго веселья строго преследовалось, да и не до него было при той тяжелой обстановке, в которой протекло детство Гончаровых.

Буйным сценам, неистовым крикам, наполнявшим весь дом, даже ночью не дающим покоя, не видно было конца. Наталья Ивановна, для ограждения детей, тщетно пыталась добиться признания мужа сумасшедшим, чтобы иметь возможность поместить его в лечебницу. Достаточно было больному проведать или самому догадаться, что соберется комисия для этой цели, чтобы, на удивление семьи и домашних,он проявлял такое самообладание, что в течение целых двух часов ни одно неразумное слово не срывалось у него с языка, мало того, что он толково отвечал на самые замысловатые вопросы, но под конец он с сдержанной грустью и полным достоинством намекал на затаенную вражду жены, которая, ради корыстных целей, изощрялась в преследованиях. Кончалось тем, что призванные судьи проникались глубоким состраданием к его мнимым бедствиям. При прощании с Натальей Ивановной они решительно отказывали в ея ходатайстве, и за вежливыми фразами ей не трудно было разобрать предубежденное недоумение или даже немой укор. А эти краткия победы над больным организмом всегда оплачивались неизбежным припадком, где буйство проявлялось с удвоенной силой.

Наталья Николаевна до самой смерти не могла вспомнить без трепета дикую сцену, где жизнь ея висела на волоске. Ей было тогда лет двенадцать. Когда у него являлось желание, Николай Афанасьевич выходил из своей половины в назначенный час и обедал за столом с семьей и домочадцами. Тогда поспешно убиралась водка и вино, потому что незначительной доли алкоголя было достаточно, чтобы вызвать возбуждение; если же ему удавалось перехватить рюмку или стакан, то трапеза неминуемо

оканчивалась бурным инцидентом. Тем не менее, по заведенному порядку, никто не имел права выйти из-за стола, пока сама хозяйка, сидящая во главе, не подавала к тому условный знак своей салфеткой. Тогда все стремглав спасались на верх, в мезонин, где тяжелыя железныя двери, не поддающиеся никакой человеческой силе, оберегали от возможной опасности.

В этот зловещий день, мать, смолоду еще немного близорукая, не заметила надвигавшейся бури и очнулась от своей задумчивости только тогда, когда последний из обедавших уже подходил к двери, оставив ее одну с разъяренным отцом. Она ринулась за ними, но всеобщее бегство только ускорило взрыв. С налитыми кровью глазами и с ножом в замахнувшейся руке, Николай Афанасьевич в свою очередь бросился нагонять ее. Опасность была очевидна.

Голова кружилась, сердце учащенно билось, ноги подкашивались, а инстинкт самосохранения внушал, что достаточно оступиться, чтобы погибнуть безвозвратно. Лестница казалась нескончаемой; с каждой ступенью отец настигал ее ближе; огненное дыхание обдавало волосы, и холодное лезвие ножа точно уже касалось открытой шеи. Наверху, в щель притворенной двери, с замиранием духа следили за перипетиями захватывающей сцены.

Но вот и цель! Ее впустили, захлопнули надежный щит. «Спасена!» — блаженным сознанием промелькнуло в мозгу, и эти ощущения годы были безсильны изгладить.

Случаи, в роде вышеприведеннаго, повторялись изо дня в день. Переживаемыя испытания оставляли двойственный и как бы друг другу противоречащий след на характере Натальи Ивановны. Ея религиозность принимала с годами суровый фанатический склад, а нрав словно ожесточался, и строгость относительно детей, а дочерей в особенности, принимала раздражительный, придирчивый оттенок.

Все свободное время проводила она на своей половине, окруженная монахинями и странницами, которыя свои душеспасительные разсказы и благочестивые размышления пересыпали сплетнями и наговорами на неповинных детей или не сумевших им угодить слуг и тем вызывали грозную расправу.

Между ними особенно выделялась какая-то монашествующая Татьяна Ивановна, отдыхавшая подолгу в Гончаровском доме от своих богомолий и скитаний. Сначала она старалась вкрасться в доверие подростающих барышень и, переиначивая на свой лад их девичьи мечты или опрометчивые отзывы, она не раз подводила их под гнев матери, а сама, с смиренно-сложенными руками, оставалась в стороне. Впоследствии, наученныя опытом, оне от нея сторонились, но она не унималась, подслушивала их беседы, улавливала их в хитро-сплетенныя интриги, и наушничала с любовью и искусством, с целью завладеть полным доверием Натальи Ивановны, прикидываясь исключительно ей преданным существом.

Дошло до того, что мать, тихая и робкая по природе, с каким-то суеверным страхом стала встречать всякое появление Татьяны Ивановны в доме, видя в нем предвестника бури, и несмотря на глубокую и искренную набожность, на всю жизнь сохранила предубеждение ко всей монашествующей братии. Самыми лучшими, беззаботными часами были те, которыя проводились на детской половине, в обществе гувернанток, из которых miss Tomson оставила в ней самое теплое, отрадное воспоминание. С матерью оне встречались за столом, в праздничные дни изредка катались торжественным выездом и обязательно должны были ее сопровождать на церковныя службы.

Одна из этих прогулок глубоко запечатлелась в памяти Натальи Николаевны.

В чудный ясный день выехали они в четырехместном экипаже цугом, с гайдуками на запятках, как вдруг завидели ехавший на встречу рыдван бабушки Надежды Платоновны. По раз данному распоряжению, кучер заворачивал в первый переулок, во избежание возможных столкновений, но на этот раз маневр не мог удасться, и, старуха Гончарова зычным голосом приказала остановиться и принялась ее во всеуслышание отчитывать, заодно с мужем, «непотребным Николашкой», взводя на обоих всевозможныя обиды и напраслины, которыя ей подсказывал ея больной мозг.

Одно из самых тяжких оскорблений было, что по злобе на нее ея негодный сын собрал в коробку тараканов со всей Москвы и скрытно напустил их на ея дом! Толпа прохожих и зевак густым кольцом окружила экипажи, громким смехом отвечая на болезненный бред старухи; барышни

растерянно прижимались друг к другу, а чувство уважения к родителям было до такой степени непоколебимо в умах, что Наталья Ивановна, при всей своей строптивости, не дерзала прекратить эту дикую сцену приказом отъехать и только вмешательство полицейской стражи избавило их от нареканий сумасшедшей.

Сильное негодование вызывала в Наталье Ивановне малейшая небрежность и разсеянность в церкви: пропуск установленного поклона или коленопреклонения не проходили даром. «На что это похоже?! — журила она провинившуюся; — одному святому моргнешь, другому мигнешь, а третий пускай и сам догадается! Разве так молятся православные?» — и, чувствуя себя под ея строгим оком, зачастую юношеская пламенная молитва застывала под покровом обрядности. Заботы о спасении души она переносила с детей на домашних. Одна только бедная приживалка оказывала ей сопротивление. На все ея попытки духовно просветить ее, она отвечала ей, кланяясь в пояс. «Пощадите меня, матушка Наталья Ивановна! И на что мне все это знать и различать-то все эти грехи? На страшном суде Христовом, как зададут мне вопросы, я буду отвечать: не знала, не ведала, — и с меня Господь-то и не взыщет. А коли вы меня всему научите, так быть мне в пекле, потащут туда ангелы его. Смилосердуйтесь, матушка!» — и с этой оригинальной точки зрения ее невозможно было сдвинуть.

В самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых. Если случалось, что какую-либо из них призывали к Наталье Ивановне не в урочное время, то пусть даже и не чувствовала она никакой вины за собой, — сердце замирало в тревожном опасении; и прежде чем переступлен заветный порог, рука творила крестное знамение, и язык шептал псалом, поминавший царя Давида и всю кротость его...

Мать, давшая себе зарок никогда не судить ближняго и свято соблюдавшая его, не любила вспоминать свое детство и молодость, но, судя по ея ангельской кротости с собственными детьми, по безпредельной нежности, постоянно проявляемой, по видимому принуждению, с которым она решалась на упрек или выговор, нам не трудно было заключить, сколько ей самой пришлось выстрадать от сухой придирчивости, взбалмошных капризов и суровых требований.

Не раз доводилось мне слышать ея ответ на замечание отца, что она слишком слаба с нами, не упускает всякаго случая нас побаловать: «Не препятствуй! Кто может знать, что их ожидает в жизни? Пусть хоть детство отрадным воспоминанием пригреет их.»

Желание сбылось! Оглядываюсь более чем на полвека — и былое возстает в сиянии тихих радостей, в воплощении могучей силы любви, сумевшей сплотить у новаго очага всех семерых детей в одну тесную, дружную семью, и в сердце каждаго из нас начертать образ идеальной матери, озаренной мученическим ореолом вследствие происков недремлющей клеветы.

Брак с Пушкиным

В семейных преданиях не сохранилось подробностей о ея помолвке и браке с Пушкиным.

Ей только минуло шестнадцать лет, когда они впервые встретились на бале в Москве. В белом воздушном платье с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической, царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нея глаз, испытав на себе натиск чувства, окрещеннаго французами coup de foudre[1]. Слава его уже тогда прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем; толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности; при первом знакомстве их его знаменитость, властность, присущия гению, — не то что сконфузили, а как-то придавили ее. Она стыдливо отвечала на восторженныя фразы, но эта врожденная скромность, столь редкая спутница торжествующей красоты, только возвысила ее в глазах влюбленного поэта.

Вскоре после перваго знакомства вспыхнувшая любовь излилась в известном стихотворении, оканчивающемся шутливым признанием:

Я влюблен, я очарован,
Я совсем огончарован!

---

[1] Любовь с первого взгляда.

Наталья Ивановна отнеслась не с большим сочувствием к предложению поэта. Может быть, она находила дочь черезчур молодой, или задолжность Гончаровых, сильно увеличившаяся, выдвигала на очередь материальный вопрос, — но сватовство затянулось на неопределенное время. Пушкин был вынужден покинуть Москву, и наступил момент, когда свадьба едва не разстроилась. Любовь его однако же одержала верх над всеми преградами.

Их повенчали в Москве 19 февраля 1831 года[1], и вслед затем Натальe Николаевне пришлось разстаться с семьей, переселившись с мужем в Петербург.

III

Гений, божественной искрой перерождая ум, и сердце человека, возносит избранника высоко над толпою и тем самым не дозволяет применять к нему усвоенную мерку и властно ставит его как бы выше признанных законов, условий и понятий всеобщей нравственности. Тесно и душно ему в рамках семейной жизни.

В Пушкине часто сказывалась необузданная кровь африканского деда, и женитьба, несмотря на искреннюю, сильную любовь к жене не могла совладать с его страстными порывами. Не легко было юной, неопытной Наталье Николаевне свыкнуться с новой обстановкой, с чуждыми ей людьми. Единственно близким человеком была у нее тетушка Екатерина Ивановна Загряжская. Она всей душой привязалась к Н. Н. но, проникнутая правилом, слепого повиновения молодежи старшим, она напускала на себя требовательную строгость для вящаго сохранения своего авторитета. Пушкин поспешил ввести жену в семью Карамзиных, и тут, пригретая и обласканная женою историка, она обрела непоколебимыя дружеския связи, послужившия ей твердой опорой в годину испытаний и так благодарно оберегаемые ею до самой кончины. У них-то, во время своих пребываний летом в Царском Селе, проводила она вечера в кругу

[1] По другим биографическим источникам 18 февраля 1831 года. */Прим. сост./*

развитых собеседников, заглушая насущныя заботы и развлекая свое частое одиночество.

Из переписки, равно как из достоверных данных биографии Александра Сергеевича, выступает красной нитью его постоянная тревога о денежной нехватке и неизбежности долгов.

Считать он не умел. Появление денег связывалось у него с представлением неизсякаемого Пактола, и, быстро пропустив их сквозь пальцы, он с детской наивностью недоумевал перед совершившимся исчезновением.

Карты неудержимо влекли его. Сдаваясь доводам разсудка, он зачастую давал себе зарок больше не играть, подкрепляя это торжественным обещанием жене, но при первом подвернувшемся случае благия намерения разлетались в прах, и до самой зари он не мог оторваться от зеленаго поля. В эпоху, предшествовавшую женитьбе, когда потери достигали слишком значительной суммы, он брал авансом у издателя необходимое для уплаты и, распростившись с кутящей компанией, удалялся в Михайловское, где принимался за работу с удвоенной энергией, обогащая Россию новыми драгоценными творениями. Впоследствии способ этот стал непригоден. Разставаться с обожаемой женой сил не хватало; увозить ее с собой то беременной, то с малыми детьми, было затруднительно, или прямо невозможно, и материальная стеснительность стала почти постоянной спутницей семейного обихода. Часто вспоминала Наталия Николаевна крайности, испытанныя ею с первых шагов супружеской жизни. Бывали дни, после редкаго выигрыша или крупной литературной получки, когда мгновенно являлось в доме изобилие во всем, деньги тратились без удержа и расчета, — точно всякий стремился наверстать скорее испытанное лишение. Муж старался не только исполнить, но предугадать ея желания. Минуты эти были скоротечны и быстро сменялись полным безденежьем, когда не только речи быть не могло о какой-нибудь прихоти, но требовалось все напряжение ума, чтобы извернуться и достать самое необходимое для ежедневного существования.

Некоторые из друзей Пушкина, посвященные в его денежныя затруднения, ставили в упрек Наталье Николаевне увлечение светской жизнью и изысканность нарядов. Первое она не отрицала, что вполне понятно и даже извинительно было после ея затворнической юности, нахлынувшаго успеха и родственной связи с аристократическими домами Наталии Ки-

риловны Загряжской и Строгановых, где, по тогдашним понятиям, ей прямо обязательно было появляться, но всегда упорно отвергала она обвинение в личных тратах. Все ея выездные туалеты, все, что у нея было роскошнаго и ценного, оказывалось подарками Екатерины Ивановны. Она гордилась красотою племянницы; ея придворное положение способствовало той благосклонности, которой удостоивала Наталью Николаевну царская чета, а старушку тешило, при ея значительных средствах, что ея племянница могла поспорить изяществом с первыми щеголихами. Она не смущалась мыслью, а вероятно, и не подозревала даже, что этим самым она подвергает молодую женщину незаслуженным нареканиям и косвенно содействует складывающейся легенде о ея безсердечном кокетстве.

Несмотря на свое личное пренебрежение к деньгам, когда становилось черезчур жутко и все ресурсы изсякали Александр Сергеевич вспоминал об обещанном и не выплаченном приданном жены. Происходил обмен писем между ним и Наталией Ивановной, обыкновенно не достигавший результата и порождавший только некоторое обострение их отношений.

Кончилось тем, что теща, в доказательство своей доброй воли исполнить обещание, прислала Пушкину объемистую шкатулку, наполненную брилиантами и драгоценными парюрами, на весьма значительную сумму. Несколько дней Наталье Николаевне пришлось полюбоваться уцелевшими остатками Гончаровских милионов. Муж объявил ей, что они должны быть проданы для уплаты долгов и разрешил ей сохранить на память только одну из присланных вещей. Выбор ея остановился на жемчужном ожерелье, в котором она стояла под венцом. Оно было ей особенно дорого и, несмотря на лишения и постоянныя затруднения в тяжелые годы вдовства, она сохраняла его, и только крайность заставила его продать гр. Воронцовой-Дашковой, в ту пору выдававшей дочь замуж. Не раз вспоминала она о нем со вздохом, прибавляя:

— Промаяться бы мне тогда еще шесть месяцев! Потом я вышла замуж, острая нужда отпала на век, и не пришлось бы мне с ним разстаться.

Трудности собственной жизни не могли заглушить в сердце Натальи Николаевны сострадания к горькой доле близких. Она часто думала о старших сестрах, мысленно переносясь в знакомую обстановку, а письма, получаемыя от них, еще усугубляли мрачность картины. Подозрительность и суровость Натальи Ивановны все росли с годами. Ей становилось в

тяжесть жить под одним кровом с сумасшедшим мужем, ненавидящим ее всем пылом былой любви; теперь уже являлась возможность сложить эту обузу на плечи возмужалых сыновей, а ей самой отдохнуть от постоянных невзгод в родном Ярропольце. Помехой этому плану оказывались только дочери.

Всякий был бы в праве осуждать ее за то, что она хоронит их лучшие годы в деревенской глуши, и этих соображений было достаточно, чтобы вымещать на неповинных девушках накипавшую горечь. Якорем спасения являлась всем Наталья Николаевна.

Не знаю, зародилась ли эта мысль в ея чутком сердце, уступила ли она их пламенному желанию, — но результат оказался в согласии Пушкина выручить своячениц из тяжелаго положения, приняв их обеих под свой гостеприимный кров. Вероятно, этому решению много способствовало побуждение прекратить одиночество, выпавшее на долю жены и в первое время тоскливо переносимое ею.

Когда вдохновение сходило на поэта, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы, он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось. Кипучий ум жаждал обмена впечатлений, живость характера стремилась поскорей отдать на суд друзей-ценителей выстраданные образы, звучными строфами скользнувшие с его пера.

С робкой мольбой просила его Наталья Николаевна остаться с ней, дать ей первой выслушать новое творение. Преклоняясь перед авторитетом Карамзина, Жуковского или Вяземского, она не пыталась удерживать Пушкина, когда знала, что он рвется к ним за советом, но сердце невольно щемило, женское самолюбие вспыхивало, когда, хватая шляпу, он с своим беззаботным, звонким смехом, объявлял по вечерам: «А теперь пора к Александре Осиповне на суд! Что-то она скажет? Угожу ли я ей своим сегодняшним трудом?»

— Отчего ты не хочешь мне прочесть? Разве я понять не могу? Разве тебе не дорого мое мнение?, — и ея нежный, вдумчивый взгляд с замиранием ждал ответа.

Но, выслушивая эту просьбу, как взбалмошный каприз милаго ребенка, он с улыбкою отвечал:

— Нет, Наташа! Ты не обижайся, но это дело не твоего ума, да и вообще не женскаго смысла.

— А разве Смирнова не женщина, да вдобавок и красивая?, — с живостью протестовала она.

— Для других — не спорю. Для меня — друг, товарищ, опытный оценщик, которому женский инстинкт пригоден, чтобы отыскать ошибку, ускользнувшую от моего внимания, или указать что-нибудь ведущее к новому горизонту. А ты, Наташа, не тужи и не думай ревновать! Ты мне куда милей с своей неопытностью и незнанием. Избави Бог от ученых женщин, а коли оне еще за сочинительство ухватятся, — тогда уж прямо нет спасения! Вот тебе мой зарок: если когда-нибудь нашей Маше придет фантазия хоть один стих написать, первым делом выпори ее хорошенько, чтобы от этой дури и следа не осталось!

И, нежно погладив ея понуренную головку, он с рукописью отправлялся к Смирновой, оставляя ее одну до поздней ночи, с своими невеселыми, ревнивыми думами.

Хотя в эту отдаленную эпоху вопроса феминизма не было даже и в зародыше, Пушкин оказался злейшим врагом всяких посягательств женщин на деятельность вне признанной за ними сферы. Он не упускал случая зло подтрунить над всеми встречавшимися ему blue stockings[1], и ярый поклонник красоты, он находил, что их потуги на ученость и философию только вредят женскому обаянию.

Мать так усвоила себе эти воззрения, что впоследствии они отразились и на мне. Помню, что 12 лет я написала заданное сочинение, которое так поразило моего учителя, что он счел долгом обратить не него ея внимание. Она, в свою очередь, показала его кн. Вяземскому, который, свято оберегая старинную дружбу, был частым посетителем в доме. И он также не задумался признать в моем детском труде несомненность дарования.

Это была только проза, я не была дочерью Пушкина, и энергический рецепт его ко мне был неприменим, но мать тогда же мне разсказала

---

[1] Синие чулки.

это шутливое нравоучение и его взгляд на женское авторство, и ничего не сделала, чтобы развить появившееся во мне стремление.

А может быть, заглохшая искорка на что-нибудь и оказалась бы пригодной!

Возвращаясь к отношениям Натальи Николаевны к Смирновой, я добавлю, что хотя оне и продолжали часто видеться и были на короткой дружеской ноге, пока Смирнова жила в Петербурге, но искренней симпатии между ними не было. Наталья Николаевна страдала от лишения того нравственнаго авторитета, которым Александра Осиповна завладела ей в ущерб, часто не щадя ее самолюбия, а последняя, страстной натурой увлеклась Пушкиным, не только как поэтом, не находила в нем желанного отклика. Она, избалованная легкими победами, объясняла это только его пылкой страстью к жене, и это сознание накопляло в ея сердце затаенную зависть к счастливой сопернице.

Этим только чувством объясняется тлеющее недоброжелательство, таким коварным светом озарившее личность жены Пушкина в мемуарах А. О. Смирновой.

Наталья Николаевна вспоминала бывало, как в первые годя ея замужества ей иногда казалось, что она отвыкнет от звука собственнаго голоса, — так одиноко и однообразно протекали ея дни! Она читала до одури, вышивала часами с артистическим изяществом, но кроме доброй, беззаветно преданной Прасковьи, впоследствии вынянчившей всех ее семерых детей, ей не с кем было перекинуться словом. Беспричинная ревность уже в ту пору свила гнездо в сердце мужа и выразилась в строгом запрете принимать кого-либо из мужчин в его отсутствие, или когда он удалялся в свой кабинет. Для самых степенных друзей не допускалось исключения, и жене, воспитанной в беспрекословном подчинении, и в ум не могло придти нарушить заведенный порядок.

Появление сестер внесло в дом струю радостного оживления, но в конце-концов дорого пришлось ей за него расплатиться, и французская пословица: «Un bienfait n'est jamais pardonné»[1] нашла в этом случае самое справедливое применение. Недаром говаривала она всю жизнь окружавшей ее молодежи: «Верьте опыту: самая крупная ошибка, которая может

[1] Благодеянис никогда не прощается.

быть, это — когда допустить между мужем и женою чуждых молодых людей, хотя бы и самых близких. Это верный источник постоянных недоразумений, влекущих за собой горе и несчастие!»

Роль старшей сестры, Екатерины Николаевны, трагически связанная со смертью Пушкина, стала историческим достоянием. Вторая же, Александра Николаевна, прожившая под кровом сестры большую часть своей жизни, положительно мучила ее своим тяжелым, строптивым характером и внесла не мало огорчения и разлада в семейный обиход.

Все, что напоминало кровавую развязку семейной драмы, было так тяжело матери, что никогда не произносилось в семье не только имя Геккерен, но даже и покойной сестры. Из нас ея портрета никто даже не видел. Я слышала только, что, далеко не красавица, Ек. Н. представляла собою довольно оригинальный тип, — скорее южанки, с черными волосами.

Александра Николаевна высоким ростом и безукоризненным сложением более подходила к матери, но черты лица, хотя и напоминавшия правильность гончаровского склада, являлись как бы его карикатурою. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нея в некоторую желтизну; чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в несомненно косой взгляд, — одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне.

Мать до самой смерти питала к сестре самую нежную и, можно сказать самую самоотверженную привязанность. Она инстинктивно подчинялась ея властному влиянию и часто стушевывалась перед ней, окружая ее непрестанной заботой и всячески ублажая ее. Никогда не только слова упрека, но даже и критики не сорвалось у нея с языка, а одному Богу известно, сколько она выстрадала за нее, с каким христианским смирением она могла ее простить!

Названная в честь этой тети, сохраняя в памяти образец этой редкой любви, я не дерзнула бы коснуться болезненно-жгучаго вопроса, если бы за последние годы толки о нем уже не проникли в печать.

Александра Николаевна принадлежала к многочисленной плеяде восторженных поклонниц поэта, совместная жизнь, увядавшая молодость,

не пригретая любовью, незаметно для нея самой могли переродить родственное сближение в более пылкое чувство. Вызвало ли оно в Пушкине кратковременную вспышку? Где оказался предел обоюдного увлечения? Эта неразгаданная тайна давно лежит под могильными плитами.

Знаю только одно, что, настойчиво разспрашивая нашу старую няню о былых событиях, я подметила в ней, при всей ея редкой доброте, какое-то странное чувство к тете. Что-то не договаривалось, чуялось не то осуждение, не то негодование. Когда я была еще ребенком, и причуды и капризы тети разстраивали мать, или поддавшись беспричинному, неприязненному чувству к моему отцу, она старалась возстановить против него детей Пушкиных, — у преданной старушки невольно вырывалось:

— Бога не боится Александра Николаевна! Накажет он ее за черную неблагодарность к сестре! Мало ей прежних козней! В новой-то жизни — и то покоя не дает. Будь другая, небось не посмела бы! А наша-то ангельская душа все стерпит, только огорчения от нея принимает... Мало что простила, во всю жизнь не намекнула!

Уже впоследствии, когда я была замужем и стала матерью семейства, незадолго до ея смерти, я добилась объяснения сохранившихся в памяти оговоров.

Раз как-то Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставили на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича, — это совпало с родами его жены, — нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков, и хотя других данных обвинения няня не могла привести, она с убеждением повторяла мне:

— Как вы там ни объясняйте, это ваша воля, а по-моему — грешна была тетенька перед вашей маменькой!

Эта всем нам дорогая, чудная женщина была олицетворением исчезнувшаго, с отменой крепостного права, типа преданных слуг, сливавшихся в едину плоть и кровь с своими господами; прямодушие и правдивость ея вне всякаго сомнения, но суждение ея все-таки могло бы сойти за плод людских сплетен, если бы другой, мало известный факт, не придал особаго веса ея разсказу.

Сама Наталья Николаевна, беседуя однажды со старшей дочерью о последних минутах ея отца, упомянула, что, благославив детей и прощаясь с близкими, он ответил не объясненным отказом на просьбу Александры Николаевны допустить и ее к смертному одру, и никакой последний привет не смягчил ей это суровое решение. Она сама воздержалась от всяких коментариев, но мысль невольно стремится к красноречивому выводу.

Наконец, когда много лет спустя, а именно в 1852 году Александра Николаевна была помолвлена с Австрийцем, бароном Фризенгофом, за несколько времени до свадьбы она сильно волновалась, перешептываясь с сестрою о важном и неизбежном разговоре, который мог иметь решающее значение в ея судьбе. И на самом деле, — после продолжительной беседы с глазу на глаз с женихом, она вышла успокоенная, но с заплаканным лицом, и, с наблюдательностью подростков, дети стали замечать, что с этого дня восторженныя похвалы Пушкину сменились у барона резкими критическими отзывами.

Вот все скудныя сведения, сохранившияся в семье об этом мимолетном увлечении. Если я решилась приподнять завесу минувшаго, то исключительно в виду важности для характеристики матери, ея постоянно проявлявшагося незлобия, — той сверхчеловеческой доброты и любви, которая проповедуется Евангелием и так мало применяется в жизни, — любви, способной все понять и все простить!

Года пролетали.

Время ли отозвалось пресыщением порывов сильной страсти, или частыя беременности, не отзывавшиеся, впрочем, на расцвете пышной красоты, вызвали некоторое, может статься самим несознаваемое, охлаждение в чувствах Александра Сергеевича, — но чутким сердцем жена следила, как с каждым днем ея значение стушевывалось в его кипучей жизни. Его тянуло в водоворот сильных ощущений. Не у тихой пристани разгорается божественная искра в пламенное творчество! Пересмотрите жизнь великих людей, и много ли найдется между ними таких, кто, добывая славу и бессмертие, не поплатился бы за них личным счастьем, а еще меньше окажется способных даровать его своим близким!

Пушкин только с зарею возвращался домой, проводя ночи то за картами, то в веселых кутежах в обществе женщин известной категории. Сам ревнивый до безумия, он до такой степени свыкся с софистическими

теориями, измышленными мужчинами в оправдание их неверности, что даже мысленно не останавливался на сердечной тоске, испытываемой тщетно ожидавшей его женою, и часто, смеясь, посвящал ее в свои любовные похождения. А она, тихая и кроткая, молча сносила все. Слова негодования, защита попраннаго права застывали на устах, и только поруганное святое чувство горькою накипью отлагалось в измученной душе.

В долгия зимния ночи, проводимыя мужем в беззаботном веселье, она, в опустелой спальне, томилась ожиданием, нервно прислушиваясь к отдаленному шороху; часы монотонным звуком точно отсчитывали меру ревнивых страданий, напряженное воображение набрасывало тяжелыя или оскорбительныя картины, а жгучия слезы обиды незаметно капали на смятую подушку. Иногда глухия, сдержанныя рыдания сквозь запертую дверь проникали в смежную детскую.

Под утро звонок. Живые шаги Пушкина раздаются в коридоре. Спешное раздевание сопровождается иногда взрывом его задорного смеха. Жизнерадостный, появляется он на пороге ея комнаты. Мигающий свет лампады у семейных образов не дает различить опухших век, а словно застывшия мраморныя черты успешно скрывают душевную муку.

— Что ты не спишь, Наташа? — равнодушно спрашивает он.

— А ты где так засиделся? Опять у своей противной Frau Amalia, устроительницы ваших пирушек? — и голос выдал брезгливую ноту.

— Как раз угадала, молодец!

— Так ступай сейчас мыться и переменять белье. Иначе не пущу.

Он, отпустив остроту или шутку, повиновался, а она... Женщины одне способны понять, что она испытывала, сколько трагизма скрывалось в этом самообладании!

IV

Года два уже просуществовали сложные отношения, прокравшияся в супружеский быт Пушкиных, как на великосветском небосклоне появилась личность, обратившая вскоре на себя общее внимание, — преимущественно из-за значения, которое этот человек приобрел в женском

обществе, и многочисленных успехов, сопровождавших его с первых шагов.

Это был новоприезжий Француз Дантес (Georges Dantès), уже успевший надеть мундир кавалергардского офицера.

Столько появилось в печати различных, нередко фантастических рассказов о его происхождении и вступлении на русскую службу, что я считаю нелишним передать здесь то, что он сам разсказал много лет спустя одному из племянников своей покойной жены.

Окончив свое образование в одной из парижских военных школ, рослый, замечательно красивый, но легкомысленный и задорный, он через меру увлекся соблазнами всемирной столицы и принялся прожигать жизнь далеко не соразмерно со своими весьма скромными средствами. Этим поведением он навлек на себя гнев родителей; подчиниться им он не захотел, произошла размолвка — и юному кутиле предоставлено было личной инициативой проложить себе путь в жизни.

В эту эпоху, хорошо еще памятную многим эмигрантам, Россия являлась далекою обетованною землей, где многие соотечественники Дантеса, добившись почестей и богатства, предпочли остаться навсегда. Мираж счастья запал в пылкое воображение Дантеса, и, недолго думая, он собрал последние крохи и пустился в дальний путь.

Проезжая по Германии, он простудился; сначала он не придал этому значения, разсчитывая на свою крепкую, выносливую натуру, но недуг быстро развился, и острое воспаление приковало его к постели в каком-то маленьком захолустном городе.

Медленно потянулись дни с грозным призраком смерти у изголовья заброшеннаго на чужбине путешественника, который уже с тревогой следил за быстрым таянием скудных средств. Помощи ждать было неоткуда, и вера в счастливую звезду покидала Дантеса. Вдруг в скромную гостиницу нахлынуло необычайное оживление. Грохот экипажей сменился шумом голосов; засуетился сам хозяин, забегали служанки.

Это оказался поезд нидерландского посланника, барона Геккерена (d' Hekeren) , ехавшего на свой пост при Русском Дворе. Поломка дорожной берлины вынуждала его на продолжительную остановку. Во время ужина, стараясь как-нибудь развлечь или утешить своего угрюмаго, недовольного постояльца сопоставлением несчастий, словоохотливый хозяин

стал ему описывать тяжелую болезнь молодого одинокаго француза, уже давно застрявшаго под его кровом. Скуки ради, барон полюбопытствовал взглянуть на него, и тут у постели больного произошла их первая встреча.

Дантес утверждал, что сострадание так громко заговорило в сердце старика при виде его безпомощности, при виде его изнуреннаго страданием лица, что с этой минуты он уже не отходил более от него, проявляя заботливый уход самой нежной матери.

Экипаж был починен, а посланник и не думал об отъезде. Он терпеливо дождался, когда возстановление сил дозволило продолжать путь, и, осведомленный о конечной цели, предложил молодому человеку присоединиться к его свите и под его покровительством въехать в Петербург. Можно себе представить с какой радостью это было принято!

Первым делом Дантеса по приезде было сблизиться с французской колонией; между прочим, он быстро сошелся с знаменитым художником, как раз занятым тогда писанием большого портрета императрицы Александры Федоровны. Ему была предоставлена специально устроенная мастерская в Зимнем Дворце. Дантес просиживал там долгие часы, восхищаясь его работой и развлекая его веселой болтовнею. Художник задался мыслью помочь карьере молодого соотечественника и не упустил этого перваго благоприятнаго случая.

Во время одной из этих бесед вбежал лакей, предупреждая о прибытии императора и едва только Дантес успел скрыться за опущенную портьеру, как Николай Павлович уже подходил к мольберту художника.

Государь был в духе, остался доволен сходством и не скупился на похвалы. Тогда художник отважился разсказать ему, что у него есть юный новоприбывший друг, который, не имев еще счастья увидать императрицу, прямо влюбился в ея изображение и проводит целые дни, следя за его работою, будучи не в силах оторвать глаз от полотна. Государь разсмеялся, осведомился о его имени и выразил желание его увидеть. Ловкий Француз тотчас вывел Дантеса из тайника, и представление состоялось без всяких формальностей.

Красивая, молодцеватая наружность, находчивость ответов, бойкость ума, сверкавшая под покровом почтительных речей, произвели настолько благоприятное впечатление, что Государь, окончив беседу, обратился к нему со словами:— Puisgue vous êtes un si fervent admirateur de l'Impératrice

sans la connaitre, je pense gue vous serez heureux de pouvoir servir sous ses ordres[1].

Дантес просиял, не ожидая такого успеха, и зачисление его в Кавалергардский полк, шефом котораго состояла императрица, не заставило себя ждать.

Он продолжал жить в доме нидерландского посланника, привязанность котораго к нему росла с каждым днем. Пожилой, не женатый, обладавший крупным состоянием, он стремился упрочить будущность Дантеса и усердно хлопотал у своего правительства о дозволении усыновить его с передачей ему имени и наследства. Цель эта была достигнута, когда тот уже состоял на русской службе, и породила даже солдатский анекдот, долго потешавший офицеров.

Нижние чины, переиначивая иностранные слова, никак не могли в толк взять, почему новаго корнета из «дантистов» произвели в «лекаря»?!

Царский proté gé оказался плохим служакой, но зато блестящим офицером, для которого настеж открывались двери самых чопорных гостиных. Где и как произошло его знакомство с Натальей Николаевной, — я не знаю, но с первой встречи она произвела на него впечатление, не изгладившееся во всю его жизнь.

«Elle é tait si autre gue le reste des femmes!» — объяснял он уже в старости своим друзьям, и, перебирая вереницу далеких воспоминаний, он с горькой усмешкой сознавался:«l'ai eu toutes les femmes gue j'ai voulues, sauf cette, gue le monde enttier m'a prê tée et gui, suprê me dérision, a été mon unique amour»[2]

И должно быть в самом деле в ея красоте сказывалась та чистейшая прелесть, то неземное совершенство, которое одинаково покорило и восторженную душу поэта, и разнузданное воображение светского кутилы!

Наталья Николаевна первое время не обращала никакого внимания на явное ухаживание новоиспеченнаго барона, привыкшаго к легким по-

---

[1] Если вы, не зная ее, такой ревностный поклонник императрицы, — я полагаю, что вы были бы счастливы служить под ее начальством.

[2] Она была так непохожа на остальных женщин! Я имел всех женщин, которых только хотел, исключая той, которую весь мир заподозрил, и которая, по горькой насмешке судьбы, была моей единственной любовью.

бедам, и это равнодушие, казавшееся ему напускным, только подзадоривало его, разжигая вспыхнувшее чувство.

Тогда он принялся за систематическую атаку.

Хотя постоянное присутствие сестер и положило конец полной замкнутости, но никто из молодежи не допускался в дом Пушкиных на интимную ногу. Чтобы иметь только случай встретить, или хотя издали взглянуть на Наталью Николаевну, Геккерен пускался на всякия ухищрения.

Александра Николаевна разсказывала мне, что его осведомленность относительно их прогулок или выездов была прямо баснословна и служила темой постоянных шуток и догадок сестер. Раз даже дошло до пари. Как-то утром пришла внезапно мысль поехать в театр. Достав ложу, Александра Николаевна заметила:

— Ну, на этот раз Геккерен не будет! Сам не догадается, и никто подсказать не может.

— А тем не менее мы его увидим! — возразила Екатерина Николаевна. — Всякий раз так бывает, давай пари держать!

И на самом деле, не успели оне занять свои места, как блестящий офицер, звеня шпорами, вошел в партер.

Этим неустанным преследованием он добился того, что Наталья Николаевна стала обращать на него внимание, а Екатерина Николаевна, хотя она и должна была понять, что ухаживание относится к сестре, влюбилась в него, но пыталась скрыть это чувство до поры, до времени.

Слишком много женщин следило ревнивым оком за поведением модного иностранца, чтобы задуманный им, и ни чуть не скрываемый роман не стал тотчас достоянием великосветских сплетен и пересудов. А у Пушкина накопилось столько явных и скрытых врагов, озлобленных меткостью его оценок или ядовитостью эпиграмм, что им на руку было, раздувая инцидент, поселить раздор в семье и безнаказанно мстить ему из-за угла.

Присылка пресловутаго диплома послужила первой отравленной стрелой, заставившей Пушкина заняться черезчур ярым поклонником жены. Он хорошо знал и ценил чистоту ея натуры, прямодушный нрав, чтобы остановиться на мысли о возможном падении, но, по примеру Цезаря, считал уже оскорблением, что другой похотливо дерзнул взглянуть на нее. Он стал попрекать ее легкомыслием, кокетством, потребовал, чтобы

она отнюдь не смела принимать Геккерена у себя, а в свете тщательно избегала всяких разговоров, и холодным отпором положила бы конец его оскорбительным надеждам.

Наталья Николаевна с обычной покорностью преклонилась перед его желанием, но Геккерен принадлежал к категории людей, которых не легко обезкуражить. И тут в разыгрываемой драме выступает лицо, двусмысленная роль котораго прямо необъяснима!

Это – сам нидерландский посланник.

Его раболепное увлечение названным сыном порождает в обществе весьма некрасивое толкование, но оно ничуть ему не препятствует прилагать все старания, чтобы достигнуть сближения между молодым офицером и Пушкиной, всячески заманивая ее на скользкий путь. Едва ей удастся избегнуть встречи или беседы с Геккереном, как всюду, преследуя ее, он, как тень, вырастает опять перед ней, искусно находя случай нашептывать ей о безумной любви сына, способнаго, в порыве отчаяния, наложить на себя руки, описывая картину его мук и негодуя на ее холодность и безсердечие.

Раз, на балу в Дворянском Собрании, полагая, что почва уже достаточно подготовлена, он настойчиво принялся излагать ей целый план бегства за границу, обдуманный до мельчайших подробностей, под его дипломатической эгидой, рисуя самую заманчивую будущность, а чтобы предупредить отпор возмущенной совести, он припомнил ей частыя, многим известныя измены ея мужа, предоставляющия ей свободу возмездия.

Наталья Николаевна дала ему высказаться и, подняв не него свой лучистый взор, ответила: Admettons gue mon mari ait envers moi les torts gue vous lui imputez; admettons même gue dans l'affolement d'une passion gui n'existe pas de mon côté du moms, ils soient de nature à me faire oublier mes devoir envers lui, vous perdez de vue un point capitale – je suis mère. Si je venais à abandonner mes guatre petits enfants, les sacriflant à un amour coupable, je serais à mes propres yeux la plus vile des créatures!.. Tout est dit entre nous, et j'exige gue vous me laissiez en paix.[1]

---

[1] Допустим, что мой муж виноват передо мною... Допустим даже, что мое увлечение вашим сыном так сильно, что, отуманенная им, я могла бы изменить священному долгу, но вы упустили из виду одно: я мать! У меня четверо маленьких детей. Покинув их в угоду преступной страсти, я стала бы в собственных глазах самая презренная из женщин. Между нами все сказано, и я требую, чтобы вы меня оставили в покое.

Вернувшись с балу, она, еще кипевшая негодованием, передала Александре Николаевне это позорное предложение.

Есть повод думать, что ея объяснение не удовлетворило барона, и что он продолжал роковым образом руководить событиями. Вероятно до сведения Натальи Николаевны дошло и письмо его к одной даме, препровожденное в аудиториат во время следствия о дуэли Пушкина, где, пытаясь обелить сына, он набрасывает гнусную тень на ея поведение с прозрачными намеками на существующую между ними связь. А между тем именно он, лучше других посвященный в сердечныя тайны приемыша, должен был явиться убежденным свидетелем ея невиновности! Подобнаго вероломства ея прямая натура простить не могла, и во всем мире это был единственный человек, к которому она питала презрение и вражду.

Лет пятнадцать после кровавой развязки, Александра Николаевна, — тогда уже баронеса Фризенгоф, — поселившись в Вене, встретилась с ним, когда он кончал там свою дипломатическую карьеру, и приняла его приглашение на большой обед. В ближайшем письме она разсказала об этом сестре и получила немедленно в ответ наболевший вопль оскорбленной души. Наталья Николаевна высказывала ей, до какой степени она глубоко возмущена тем, что сестра, связанная с ней столь тесной, долголетней дружбой, могла нанести ей кровную обиду, приняв хлеб-соль человека, сознательно бывшаго виновником ея несчастия, того человека, котораго она всегда считала своим злейшим врагом. Если А. Н. не захочет порвать со ним всяких сношений, — что дало бы ей удовлетворение. — то она по крайней мере требует, чтобы никогда между ними не упоминалось больше имя этого развратного старика.

— Сознаюсь, я поступила опрометчиво, — заключила тетя свой разсказ, — но, читая это письмо, я просто глазам не верила. Эти горькие упреки, этот резкий тон так противоречил обычному стилю нашей доброй, всепрощающей Nathalie! Столько лет прошло с тех пор. Я и не подумала, что могу этим пустяком разбередить старую рану.

V

Геккерен, взбешенный холодностью Натальи Николаевны, заметной для всех в свете, и неудачей, постигшей все попытки отца, отважился посетить ее на дому, но случай натолкнул его в сенях на возвращающагося Пушкина.

Одного вида соперника было достаточно, чтобы забушевала в нем африканская кровь, и, взбешенный предположением, что так нахально нарушается его запрет, — он немедленно обратился к молодому человеку с вопросом, что побуждает его продолжать посещения, когда ему хорошо должно быть известно, до какой степени они ему неприятны?

Самообладание не изменило Геккерену. Зрел ли давно задуманный план в его уме, или, вызванная желанием предотвратить возможное столкновение, эта мысль мгновенно озарила его, — кто может это решить? Хладнокровно, с чуть заметной усмешкой, выдержал он натиск перваго гнева и в свою очередь вежливо спросил, отчего Пушкин так волнуется его ухаживанием, которое не может компрометировать его жену, так как отнюдь к ней не относится?

— C'est votre belle – soeur, M-ll Gatherine, que j'aime, et ce sentiment aussi sincèr que profond me rend tout disposé à la demander en mariage![1]

Это признание озадачило Александра Сергеевича.

Несмотря на неожиданность, он мгновенно взвесил цену доказательства. Молодому, блестящему красавцу-иностранцу, который мог бы выбирать из самых лучших и выгодных партий, из любви к одной сестре связать себя навеки со старшей, отцветающей безприданницею, — это было бы необъяснимым безумием, и разом просветленный, он уже добродушно объяснил ему, что участь Екатерины Николаевны не от него зависит и что для дальнейших объяснений ему следует обратиться к тетушке, Екатерине Ивановне Загряжской, как старшей представительнице семьи.

---

[1] Я люблю свояченицу вашу, Екатерину Николаевну и это чувство настолько искренно и серьезно, что я готов сейчас просить ее руки!

Наталью Николаевну это неожиданное сватовство поразило еще сильнее мужа. Она слишком хорошо видела в этом поступке всю необузданность страсти, чтобы не ужаснуться горькой участи, ожидавшей ея сестру.

Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно, и потому, как в волшебном чаду, выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкою, боясь поверить выпадавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра открыть ей глаза, поверяя все хитро-сплетенныя интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений и невыразимой мукой сознания, что обидное равнодушие служит ответом ее страстной любви. На все доводы она твердила одно:

— Сила моего чувства к нему так велика, что, рано или поздно оно покорит его сердце, а перед этим блаженством страдание не страшит!

Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна в свою очередь не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека.

— Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить! — запальчиво бросила она ей в лицо.

Краска негодования разлилась по гордому, прекрасному лицу:

— Ты сама не веришь своим словам, Gatherine! Ухаживание Геккерена сначала забавляло меня, оно льстило моему самолюбию, первым побуждением служила мысль, что муж заметит новый, шумный успех, и это пробудит его остывшую любовь. Я ошиблась! Играя с огнем, можно обжечься. Геккерен мне понравился. Если бы я была свободна, — не знаю, во что бы могло превратиться мимолетное увлечение. Постыднаго в нем ничего нет! Перед мужем я даже и помыслом не грешна, и в твоей будущей жизни помехой, конечно, не стану. Это ты хорошо знаешь. Видно от своей судьбы никому не уйти!

И на этом покончились все объяснения сестер.

Накануне свадьбы Наталья и Александра Николаевны сообща подарили невесте скромный подарок на память.

В 1872 году, в бытность мою за границей, случай свел меня у тети Фризенгоф со второю дочерью Екатерины Николаевны, Berthe Vandal, которая свято сохранила это воспоминание покойной матери и показала его мне. Это был широкий золотой браслет, с тремя равными корналинами; внутри было выгравировано число (ускользнувшее из памяти) со словами: «Souvenir d'éternelle affection. Alexandrine. Nathalie».[1]

Вид его послужил мне разгадкой болезненнаго, почти суевернаго страха, который мать всегда питала к этому камню. Она до такой степени не терпела его в доме, что однажды, заметив на подаренном ей отцом наперстке корналиновое донышко, она видимо встревожилась и успокоилась только тогда, когда его поспешили заменить металом. На мой любопытный вопрос, она только махнула рукою, промолвив:

— Желаю тебе никогда не испытать столько горя, несчастий и слез, сколько этот камень влечет за собой.

Давно уже ходячим афоризмом стало, что суеверие — признак неразвитости ума. Это, конечно, никто не дерзнет применить к Пушкину, а между тем с самой своей юности он ему был сильно подвержен.

Мать моя позаимствовала от него очень много дурных примет, и при всей своей набожности всегда испытывала неприятное чувство, встречая на улице или в пути священника. В оправдание себя она приводила случай, бывший с Александром Сергеевичем, из котораго ясно выходило, что, побори он тогда свой предразсудок, ему пришлось бы поплатиться неминуемой бедой.

Он проживал тогда в Михайловском, по приказанию свыше отданный под надзор местной полиции, с воспрещением выезда до разрешения. Продолжительная осенняя непогода, долгое одиночество сильно влияли на его впечатлительную натуру. Его обуяла тоска. Петербург манил всей неотразимостью запретнаго плода. Сердце так и рвалось в тесный кружок, ум жаждал окунуться в струю живой деятельности. Разстояние казалось таким недалеким, надежный приют — только выбирай: никто не выдаст ослушания. А только хоть бы день или два провести на воле, обменяться мыслями, вздохнуть полной грудью! Тщательно протестовал разсудок,

---

[1] «На память вечной привязанности. Александра. Наталия».

стращая царским гневом и роковыми последствиями, — искушение осилило и на утро Александр Сергеевич отдал все распоряжения к отъезду.

Не успел он выехать из околицы, как заяц перебежал через дорогу. Его покоробило, но он решил не обращать на это внимания. Не припомню вторую примету, вскоре появившуюся и еще сильнее смутившую его; но страстное желание и ее превозмогло.

Наконец, ему навстречу попался священник. Тут уже он признал себя побежденным зловещей случайностью и, с досадой крикнув: «Пошел домой!» — вернулся в Михайловское.

Не прошло нескольких дней, к нему нагрянула встревоженная полиция по запросу из Петербурга, — не нарушил ли Пушкин свое изгнание? И только тут он узнал о кровавом событии 14 декабря. Самовольная отлучка как раз совпала бы с этим числом, старая дружба с Кюхельбекером и многими другими заговорщиками в глазах самых непредубежденных людей неминуемо выставила бы его причастным к мятежу, и дорого пришлось бы за нее поплатиться!

Это совпадение оправдавшихся примет не изгладилось из его памяти и еще тверже укрепило суеверное настроение.

Столько появлялось в печати вздорных выдумок и нелепых рассказов о Пушкине, что семья только недоумевала перед их фантастическим источником, а вместе с тем никто не обмолвился о редком духовном явлении, обнаруживавшемся в нем помимо его воли.

Приведу здесь два разсказа, ручаясь за их достоверность, потому что слышала их от самой матери, слепо веровавшей в эту необъяснимую способность, так как она оправдалась на ея дальнейшей судьбе.

Первый факт произошел в Царском Селе на квартире Жуковскаго. Вечером к нему собрались невзначай человек пять близких друзей; помню, что между ними находился кн. Вяземский, так как в его памяти также сохранялось мрачное предсказание.

Как раз в этот день наследник Александр Николаевич прислал в подарок любимому воспитателю свой художественно исполненный мраморный бюст. Тронутый вниманием, Жуковский поставил его на самом видном месте в зале и радостно подводил к нему каждого гостя. Посудили о сходстве, потолковали об исполнении и уселись за чайным столом, перейдя уже на другие темы.

Пушкин, сосредоточенно молчаливый, нервными шагами ходил по залу взад и вперед. Вдруг он остановился перед самым бюстом, впился в мраморные черты каким-то странным, застывшим взором, затем, обеими руками закрыв лицо, он надтреснутым голосом вымолвил:

— Какое чудное, любящее сердце! Какия благородныя стремления! Вижу славное царствование, великия дела и — Боже! — какой ужасный конец! По колени в крови! — и как-то невольно он повторял эти последния слова.

Друзья бросились к нему с разспросами. Он отвечал неохотно. Будущее точно отверзло перед ним завесу, показав целую вереницу картин, но последняя настолько была кровава и ужасна, что он хотел бы ее навек позабыть. Некоторые не поверили, объявив, смеясь, что не дадут себя морочить. Жуковский и Вяземский, поддавшись его настроению, пытались его успокоить, приписывая непонятное явление нервному возбуждению, и всячески ухищрялись развлечь его. Это им, однако, не удалось, и, под гнетом мрачных мыслей, вернулся он ранее обыкновеннаго домой и передал жене этот странный случай.

В то время мысль о покушениях была так далека от человеческаго ума, что мать, под влиянием провидения Пушкина, страшилась революции, на-подобие французской, — столь близкой ея поколению, и всегда твердила, что у нея одно желание: не дожить до ея кровавых ужасов. Оно исполнилось. Ей, беззаветно преданной императору Николаю, своему мощному покровителю и благодетелю ея детей, перенесшую благоговейную любовь на его сына, не пришлось дожить до позорной страницы летописи русской, до рокового дня 1 марта, когда царь-Освободитель, по колена в крови, сменил земную корону на светлый мученический венец.

Второй случай произошел позднее за несколько месяцев до смерти Пушкина.

Произошло это также вечером, но дома. Мать сидела за работою; он провел весь день в непривычном ему вялом настроении. Смутная тоска обуяла его; перо не слушалось, в гости не тянуло и, изредка перекидываясь с нею словом, он бродил по комнате из угла в угол. Вдруг шаги умолкли и, машинально приподняв голову, она увидела его стоявшим перед большим зеркалом и с напряженным вниманием что-то разглядывающим в него.

— Наташа! — позвал он странным сдавленным голосом: — что это значит? Я ясно вижу тебя и рядом, — так близко! — стоит мужчина, военный... Но не он, не он! Этого я не знаю, никогда не встречал. Средних лет, генерал, темноволосый, черты неправильны, но недурен, стройный, в свитской форме. С какой любовью он на тебя глядит! Да кто же это может быть? Наташа, погляди!

Она, поспешно вскочив, подбежала к зеркалу, на гладкой поверхности котораго увидела лишь слабое отражение горевших ламп, а Пушкин еще долго стоял неподвижно, проводя рукою по побледневшему лбу.

Очнувшись, на ея разспросы, он вторично описал приметы появившагося незнакомца и, перебрав вместе немногочисленных лиц царской свиты, с которыми приходилось встречаться, пришли к заключению, что никто из них не походит на портрет. Пушкин успокоился; он даже облегченно вздохнул; ему, преследуемому ревнивыми подозрениями относительно Геккерена, казалось, что видение как будто устраняло его. Мать же, заинтересованная в первую минуту, не подобрав никого подходящего между знакомыми, приписала все грезам разыгравшегася воображения и, среди надвигавшихся мрачных событий, предала это скорому забвению.

Лишь восемь лет спустя, когда отец предстал пред ней с той беззаветной любовью, которая и у могилы не угасла, и она услышала его предложение, картина прошлаго воскресла перед ней с неотразимой ясностью. Загробный голос Пушкина словно звучал еще, описывая облик таинственнаго видения, и молниеносно блеснуло в уме: «c'était écrit!»[1]

VI

Свадьба Геккерена с Екатериной Николаевной не на много и, главное, не на долго улучшила семейное положение Пушкиных.

Согласно категорически выраженному желанию Александра Сергеевича, Наталья Николаевна в дом к сестре не ездила, а принимала ее только одну. Равнодушие, с которым она относилась к совершившемуся

[1] «Это было предопределено».

факту, ненарушимая ровность нрава дома и естественность отношения к зятю, при случайных встречах в свете, отрезвили Пушкина. Он понимал, что такая чистая, возвышенная натура, если и поддалась минутному увлечению, как занесенной искре от пылавшего костра, закалена бронею сознательнаго долга и сумеет ее затушить, и он верил всем существом, что честь его имени в надежных руках. Но этого было недостаточно болезненному самолюбию. Так беззаботно осмеивая других, он трепетал при одном предположении, что может стать мишенью для чужих острот. И на этой слабой струнке зиждился весь план тайных врагов, задумавших его погибель.

Опасения Натальи Николаевны относительно счастья сестры не замедлили оправдаться. Она страдала сильнее Пушкина и, понятно, с большим основанием. Опрометчивый шаг, который в тайнике своей души Геккерен считал, вероятно, ступенью к сближению, оказался лишь новой, непреодолимой преградой. Лицемерить с постылой женой было не под силу. Она чувствовала, что между ними вечно стоит для него — неприступный, для нее — раздражающий облик сестры. Она не могла простить ей ни ее прозорливости, ни постояннаго невольнаго торжества. Заветною ея мечтою стало — уехать с мужем во Францию, чтобы примирить его с семьей и задержать его там надолго, быть может навсегда. Разлука и влияние иной, прежней сферы казались ей самыми надежными средствами для излечения мучительной страсти.

Если бы это путешествие осуществилось бы, то, по всем вероятиям, Россия бы еще долгие годы гордилась и прославлялась своим поэтом, но молодая женщина, увлекаясь своим планом, так много говорила о предполагаемом отъезде, что натолкнула недремлющих врагов на новый энергичный приступ.

Прекратившиеся было анонимные наветы снова посыпались на несчастнаго Пушкина со змеиным шипением. Они пытались злорадно изобличить, что брак служил только ловким прикрытием прежних разоблаченных отношений. Страсть Геккерена, с которой он не имел силы совладать, служила богатым материалом для низких инсинуаций. Бестактный каламбур раздувался в целое событие. Невидимая паутина сплеталась вокруг Натальи Неколаевны. Каждый ея шаг, каждое ея слово не ускользало от зоркаго наблюдения, и так как нельзя было в них найти повода к

обличению, то все передавалось в превратном свете. Преследовалась единственная цель — частыми каплями яда растравлять еще муку ревнивой души. Он несказанно терзал себя. Чем воображение богаче, тем картины, возстающия в нем, разнообразнее страданиями. Он спешил к жене, допрашивал, оскорблял ее подозрениями, своим жгучим, проницательным взром врывался в ее сокровенные помыслы, — и видел, как широко открыта лежала перед ним книга ея совести, и с каким нежным состраданием взирали на него ея вдумчивые, лучистые глаза. Он ясно читал тогда, что на прекрасном, гордо поднятом челе нет места измене и обману.

Мгновенно успокоенный, он молил прощения, целовал ея руки, давал клятву впредь презирать это орудие людской подлости, и мир водворялся в наболевшей душе, но, увы, не на долго, и новое письмо подымало снова бурный шквал.

Кровавая развязка подступала все ближе и ближе. Геккерен, окончательно разочарованный в своих надеждах, так как при редких встречах в свете Наталья Николаевна избегала, как огня, всякой возможности разговоров, хорошо проученная их последствиями, прибегнул к последнему средству.

Он написал ей письмо, которое было — вопль отчаяния с перваго до последняго слова.

Цель его была добиться свидания. «Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к ней единственно, как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинство и чистоту». Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору, а может быть даже и двум. Жена, в своей безумной страсти, способна последовать данному им примеру, и, загубленныя в угоду трусливому опасению, две молодыя жизни вечным гнетом лягут на ея безчувственную душу.

Теперь и для Натальи Николаевны наступил час мучительной нравственной борьбы!

На одной чашке весов лежит строжайший запрет мужа, внутренний трепет при сознании опрометчивого шага и предвидение, что при всей вере

в свою непогрешимость, она добровольно кует орудие для собственнаго позора, которое не ускользнет от стаи воронов, каркающих над ея головою.

На другой – сплетался страх пред правдоподобностью самоубийства, так как Геккерен доказал своей женитьбой, что он способен на самыя неожиданныя меры, со смутной тревогой за участь, готовящуюся сестре. Может быть, другая женщина, более опытная в жизни, и призадумалась бы над шумихой громких фраз, но, недоступная внушениям лжи или самообмана, она не признавала их и в других. Наконец, сострадание также подало свой голос.

Дилема неразрешимой тяжестью давила ум; беда грозила с обеих сторон, но ей чудилось, что опасность рокового свидания грозила только ей одной, в противовес поставленной на карту человеческой жизни. Доводы разсудка были разбиты призраком смерти, жребий брошен.

Года за три перед смертью, она разсказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ея заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ея слов я узнала что, дойдя до этого эпизода, мать со слезами на глазах, сказала: «Voyez-vous ma chère Gonstance, depuis tant d'années écoulées, je n'ai pas cessé de scruter ma conscience bien rigoureusement, et le seul acte gu'elle me reproche – c'est mon consentement à cette entrevue secrete – entrevue gue mon mari a payé de son sang et moi du bonheur et de la paix de ma vie entière. Dieu m'est témoin gu'elle a été aussi courte gu' innocente et pourtant gue de moux à sa suite! La seule excuse gue je me trouve est mon inexpérience doublée de compassion. Mais gui peut en admettre la sincérité?»[1]

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетика, в кавалергардских казармах, так как муж ея состоял офицером этого полка. Она была полуфранцуженка, побочная дочь графа Григория

[1] Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я – счастьем и покоем всей своей жизни. Бог свидетель, что оно было столько же кратко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве сострадания... Но кто допустит его искренность?

Строганова, воспитанная в доме на равном положении с остальными детьми, и, в виду родственных связей с Загряжскими, Наталья Николаевна сошлась с ней на дружескую ногу. Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех.

В числе ея поклонников самым верным, искренно влюбленным и беззаветно преданным был в то время кавалергардский ротмистр Петр Петрович Ланской.

Хорошо осведомленная о тайных агентах, следивших за каждым шагом Пушкиной, Идалия Григорьевна, чтобы предотвратить опасность возможных последствий, сочла нужным посвятить своего друга в тайну предполагавшейся у нея встречи, поручив ему, под видом прогулки около здания, зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей появиться близ ея подъезда.

Отец мой не был тогда знаком с матерью. Всецело поглащенный службою, он посвящал свои досуги Идалии Григорьевне, чуждался светской жизни, и только по обязанности появлялся на придворные балы, где видал издалека прославленную красавицу Пушкину, но, всей душою отдавшись другой женщине, ничуть ею не интересовался. Наталья Николаевна его даже и в глаза не знала.

Всякое странное явление в жизни так удобно обозвать случаем! Но мне именно сказывается перст Божий в выборе Идалией Григорьевной того человека, который, будучи равнодушным свидетелем происшедщаго события, наглядно доказал, до какой степени свидание, положившее незаслуженное пятно на репутацию матери, было в сущности невинно и не могло затронуть ея женской чести.

Вся семья Ланских была воспитана в традициях строгой нравственности. Мужчины всегда ставили честь выше всего. Женщины не составляли себе культа из добродетели, — это было, просто свойство и потребность их природы. Может быть случалось, что любовь и искушение вкрадывались в душу, но победоносная борьба составляла тайну их перед Богом.

Перебирая в уме все эти отжившие облики, я не встречаю ни единаго, давшаго повод к злоречию и нареканиям. Конечно, теперь, в эпоху все-

возможных «свобод» и распущенности нравов, эти понятия покажутся смешным пережитком далекаго прошлаго, но на этих устоях зиждилась семья, и ея мощью была несокрушима Русь.

Характерной чертой может служить отношение всей родни к фавориту Ланскому. Его считали отщепенцем, и, презрительно говорили о его возвышении, как позорящем весь род. Подобныя, унаследованныя отцом воззрения служат лучшей порукой, что семь лет спустя он никогда не решился бы дать свое безупречное имя женщине, в чистоту которой он не верил бы так же безусловно, как в святость Бога.

Несмотря на бдительность окружающих и на все принятыя предосторожности, не далее, как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимнаго кореспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене.

Оно не смутило ея. Она не только не отперлась, но, с присущим ей прямодушием, поведала ему смысл полученнаго послания, причины, повлиявшие на ея согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленнаго человека. Этого открытия было достаточно, чтобы возмутить ее до глубины души, и тотчас же, перервав беседу, своей таинственностью одинаково оскорбляющую мужа и сестру, она твердо заявила Геккерену, что останется на век глуха к его мольбам и заклинаниям, и что это первое, его угрозами вынужденное свидание, непреклонной ея волею станет последним.

При всей искренности намерения, она, разставаясь, была далека от мысли, что им не суждено было более видеться на земле. Исповедь ея дышала такой неподдельной правдой; в ней проглядывало столько сердечнаго сокрушения за легкомысленный поступок, обидой и горем отозвавшийся на нем, что Пушкин, врожденный великий психолог, мгновенно отбросил всякий помысел о лицемерии и обмане. И этот единственный раз, когда донос имел в основе хоть голый факт, все обошлось тихо, без гневной вспышки ревности; слова упрека застыли на языке, щадя ея безыскусственное, почти детское раскаяние.

Он, нежным, прощальным поцелуем осушил ея влажные глаза и, сосредоточенно задумавшись, промолвил как бы про себя: «Всему этому надо положить конец!»

Он оставил ее успокоенной, почти обрадованной исходом объяснения: таким тяжелым, непривычным гнетом, лежала у ней на душе единственная тайна от мужа. Великое множество людей обладает способностью творить зло как бы безсознательно. Окружающим, обыкновенно близким, они причиняют страдания, а потом наивно недоумевают, когда приходит время в этом убедиться. В самоизвинениях недостатка не бывает. Довольно слабаго мозгового усилия, – и пострадавший покорно преобразуется в виноватаго. Покой таких людей ненарушим. Другие, напротив, склонны увеличивать свои вины и прегрешения, мучатся непредусмотренными последствиями, и если обстоятельства или смерть отнимают возможность искупления, сознание соделанного гложет еще сильнее, отравляет всякое дальнейшее счастье.

К этим чутким натурам принадлежала Наталья Николаевна. Хорошо изучив пылкий, необузданный нрав Пушкина и сопоставляя его впоследствии с мягкостью и любовным состраданием, проявленным в минуту скорбнаго сознания ея виновности, она благоговейно преклонялась пред величием его души, и это воспоминание еще сильнее разжигало всегда сочащуюся рану, которую она унесла с собой в могилу. А праздная, легкомысленная толпа, падкая на эфектныя, шумныя проявления горя, не умела распознать скрытаго, величайшаго страдания, и заклеймила равнодушием и холодностью это, собственным суровым приговором истерзанное женское сердце!

Приведенное выше объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерена, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения. Все последовавшие переговоры, кровавый исход и, наконец, последние дни земных страданий Пушкина давно уже стали достоянием истории.

К подробным разоблачениям Данзаса, к душепотрясающему описанию Жуковскаго я не могу ничего прибавить.

Тем, которые, в партийных целях, старались представить великаго поэта атеистом и лицемером пред Царем, следовало бы проникнуться теплотою и искренностью мыслей, высказанных им на смертном одре. Даже в мелких, обыденных натурах, обман и лесть, посрамленныя, отходят в эту минуту, а его возвышенная душа, сознавшая близкое присутствие

Бога, источника вечнаго света, неудержимо изливала все, что накопилось в ней годами.

Мать всегда глубоко возмущалась всякими намеками, а иногда даже утверждениями о его атеизме. Он не раз не только сожалел, но прямо скорбел о легкомыслии, которому поддался, сочинив свою «Гаврилиаду», и приходил делиться с ней радостью, как только ему удавалось сжечь хранившийся у кого-либо из друзей экземпляр.

«Не знаю, что бы я дал, чтобы и помин об ней уничтожить!» — всегда говорил он с нескрываемым раздражением. И не только сущность веры была ему дорога, но он ценил даже православную обрядность.

В роде бояр Пушкиных с незапамятных времен хранилась металлическая ладанка, с довольно грубо гравированным на ней Всевидящим Оком и наглухо заключенной в ней частицей Ризы Господней. Она — обязательное достояние старшего сына, и ему вменяется в обязанность 10 июля, в день праздника Положения Ризы, служить перед этой святыней молебн. Пушкин всю свою жизнь это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда наступит время, вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета. Кстати упомянуть тут, что Александр Сергеевич очень гордился древностью своего рода; он был сто первый по старшей линии, и его стихотворение о своем «мещанстве», конечно, была только злая ирония относительно новоиспеченных вельмож. Он ценил своих предков за добросовестную и верную службу России, за стойкость мнений, приведших некоторых на плаху.

Мать разсказывала, что, когда родился второй сын, она хотела назвать его Николаем, но он пожелал почтить память однаго из своих предков, казненных в смутное время, и предоставил ей выбор между именами: Гавриила и Григория. Она предпочла последнее.

Что же касается до его отношений к императору Николаю, — его либерализм и свободолюбие были чужды ослепления. Он признавал рыцарския черты цельнаго характера государя; возмущаясь порой суровостью его правления, он невольно чувствовал обаяние его мощи; наконец, откровенность, столь чуждая придворным сферам, установившаяся в обмен их мыслей, благодарным семенем запала в сердце, способном оценить

великодушное доверие, и искренен был возглас его умирающей души, сожалевшей о силах, утраченных для служения Царю.

Наша няня не могла вспомнить без содрогания о страшном состоянии, в которое впала мать, как только в наступившей смерти нельзя было более сомневаться.

Безчувственную, словно окаменелую физически, ее уложили в постель; даже в широко открытых, неподвижных глазах всякий признак жизни потух. «Ни дать, ни взять сама покойница», — описывала она.

Екатерина Ивановна Загряжская, привязавшаяся к ней всей душою, не могла выдержать вида этого олицетвореннаго страдания и оставила ее на попечение княгини Вяземской, неотлучно ухаживавшей за ней в эти скорбные часы.

Она не слышала, что вокруг нея делалось, не понимала, что ей говорили. Все увещания принять пищу были безполезны, судорожное сжимание горла не пропускало и капли воды. Долго бились доктора и близкие, чтобы вызвать слезы из ея застывших глаз, и только при виде крошечных осиротелых детей, оне, наконец, брызнули неудержимой струей, прекратив это почти каталептическое состояние. Но с возвратом сознания пробудилась острая, жгучая боль того безысходнаго, сокрушающаго горя, следы котораго никогда не изгладились.

С пятилетнего возраста я явственно помню мать, и несмотря на то, что ея вторая семейная жизнь согласием и счастьем сложилась почти недосягаемым идеалом, веселой я ее никогда не видала. Мягкий ея голос никогда порывом смеха не прозвучал в моих ушах; тихая, затаенная грусть всегда витала над ней. В зловещие январские дни она сказалась нагляднее; она удалялась от всякаго развлечения, и только в усугубленной молитве искала облегчения страдающей душе.

Я росла страшно живой, впечатлительной, бойко-веселой девочкой. Отец был молчалив, невозмутимо спокоен по натуре; людям, поверхностно судившим о нем, он казался холодным и гордым; мать — сосредоточенная, скромная до застенчивости, кротости и доброты необычайных. Хорошо помню, что кто-то из родственников, глядя на меня, удивляясь самобытности моего характера, ничего общаго не имевшаго с родителями, недоумевающе заметил: «И в кого только она такая уродилась?» Вдумчивый

взор матери через мою голову устремился вдаль, и с подавленным вздохом она промолвила:

— В кого? Да в меня. И я когда-то была такая, беззаботная, доверчивая, веселая... Но давно, давно пока меня еще жизнь не сломила.

VII

Несмотря на все мои старания, мне удалось собрать так мало данных о семилетнем вдовстве матери, что я имела поползновение на этой точке прекратить свое повествование.

Вскоре после смерти Пушкина, Наталья Николаевна с сестрою и детьми покинула Петербург, уехав в майоратное имение старшего брата Дмитрия, Полотняные Заводы. Говорят, что этим решением она подчинилась предсмертному совету мужа, желавшаго ея удаления на время от столичной жизни, с предвиденными им пересудами, толками и нареканиями. Но так как я этого ни от нея, ни непосредственно от близких не слыхала, то утверждать не решаюсь.

Два года продолжалось это добровольное изгнание, и обстоятельства так сложились, что мало отрады принесло оно ей в ея тяжком горе. Покинула она родовое гнездо беззаботным, балованным, обожаемым ребенком, а вернулась с разбитым сердцем, обремененная семьей, в постоянной заботе о насущном хлебе.

Дмитрий Николаевич был человек добрый, весьма ограниченнаго ума, путанник в делах, которому не под силу было восстановление почти рухнувшаго состояния Гончаровых. Слабохарактерный по природе, он находился в полном порабощении у своей жены.

По происхождению из кавказских княжен, но выросшая в бедности, в совершенно другой среде, почти без образования, она, с врожденной восточной хитростью сумела его женить на себе как-то невзначай.

Он и впоследствии никак не мог себе уяснить, как он дошел до такого шага, даже без особенной любви к ней, хорошо понимая, что подобный выбор неминуемо внесет разлад в его семейныя отношения.

Елизавета Егоровна отдавала себе ясный отчет в недружелюбности мужниной родни и, живя безвыездно в деревне, она напрягала все усилия отдалить его от своих, чтобы не утратить так ловко захваченнаго влияния. При ней состояла тетушка, признававшая только два занятия — сон и еду, а в промежуток развлекавшаяся гаданием на картах и сплетнями на многочисленную челядь, зачастую вызывавшими крутую расправу. В доме поселился еще какой-то родственник, юркий Армянин, усердно помогавший ей в управлении делами, но гораздо больше заботившийся о собственной пользе. Нежданное появление двух мужниных сестер, да еще с маленькими детьми, не могло ей придтись по душе, но она, в особенности сначала, не смела нарушить правила глубоко вкоренившагося семейнаго гостеприимства. Трудно было ей примениться к светскому обращению, которое было ей чуждо, и в этих стенах, хранивших следы широкаго, расточительнаго барства, мелкия и частыя проявления ея мещанских привычек казались резким дисонансом.

Хотя черты лица ея давно утратили кратковременную привлекательность южнаго типа, она продолжала себя считать красивой и пыталась соперничать с Натальей Николаевной. Плохо умытая, небрежно причесанная, в помятом ситцевом платье сомнительной свежести, она появлялась с брилиантовой фероньерой на лбу и торжествующим взором оглядывала траурный наряд своей гостьи.

Это соревнование могло, конечно, вызвать только невольную усмешку, но ея грубая безтактность способна была отравлять ежедневное существование. Елизавета Егоровна мало-по-малу сочла лишним стесняться; она не упускала случая подчеркивать что она у себя дома, и золовки обязаны ценить всякое одолжение, обижалась и дулась из-за каждаго пустяка, требовала от мужниных сестер того же раболепнаго угодничества, как от собственных родственников, и обзывала гордостью для нея непонятное чувство собственнаго достоинства.

Александра Николаевна, обладая сама строптивым нравом, не давала ей спуску, метким словом напоминания возстановляя нарушенныя границы, но это, конечно, еще более обостряло отношения.

Наталья Николаевна, безучастная ко всему, молча переносила эти дрязги, но сознание, что она невольной обузой тяготеет над братниным очагом, созревало в ней, и когда письма тетушки Екатерины

Ивановны[1] желающей утешить свою старость близостью единственно любимаго существа, стали все настойчивее призывать ее, она, наконец, не без содрогания сердца, решила вернуться в ту среду, где столько тяжкаго было пережито, столько обиднаго чуялось впереди. В памяти старшаго брата еще живо воспоминание этого путешествия из Калужской губернии в Петербург на почтовых, с краткой побывкой в Яропольце, где впервые дети увидели бабушку, из былой красавицы преобразившуюся в сухую, строгую старуху, застывшую в суровом благочестии[2]. Все, что было вне ея замкнутой жизни, стало ей так чуждо, что ни горе, ни одиночество дочери не повело к сближению между ними, и это свидание, взамен утешения сердцу и нравственной поддержки, обратилось только в исполнение почтительнаго долга. Эта нота преобладала до самой ея кончины. В моей детской памяти глубоко врезалось обсуждение поздравительных писем к праздничным дням. При выражаемых пожеланиях, строго воспрещалось употреблять слова: joie, или bonheur, так как она принимала это за иронию или скрытое издевательство. Это неминуемо вызывало гнев. Всякий раз тщательно взвешивалось значение paix de l'âme, contentement moral, quiétude spirituelle.[3] Эти слова должны были служить заменою общепринятых благопожеланий.

Поселившись в столице, мать была встречена с распростертыми объятиями семьей Карамзиных и старшей дочерью их, княгиней Мещерской, с которой она сохранила до самой кончины неразрывную дружбу, скрепленную еще женитьбой ея второго брата на сестре князя Петра Ивановича. С четой Вяземских каждая разлука сопровождалась непрерывной задушевной перепиской, и князь Петр Андреевич, переживший мать на многие

---

[1] Загряжская

[2] В тексте А. П. Араповой неточность. Н. Н. Пушкина приезжала ранее к матери в Ярополец вместе с Сашей и Машей Пушкиными в мае 1834 года. Наталья Ивановна Гончарова тепло встречала дочь и внуков, о чем свидетельствовало ее письмо, которое она послала Пушкину. Наталья Николаевна сделала к нему приписку. Это единственные строки, адресованные женой Александру Сергеевичу, известны пушкинистам. Наталья Николаевна, живя в Полотняном Заводе, также приезжала вместе с детьми в Ярополец в августе 1837 года на именины матери. */Прим. сост./*

[3] Спокойствие души, нравственное удовлетворение, душевный покой.

годы, никогда не упускал случая отозваться о ней с горячей привязанностью и глубоким уважением.[1]

Об отношениях ея к Сергею Львовичу Пушкину, к сестре мужа Ольге Сергеевне Павлищевой, я считаю лишним упоминать, так как в напечатанных записках сына последней они выставлены в надлежащем свете, представляя беспорно больше веса, чем все то, что мною может быть сказано. Жуковский, Плетнев, Нащокин — все истинные друзья Пушкина наперерыв старались всячески доказать ей свое участие, облегчая ея заботы, отлично понимая, до какой степени их нравственная опора дороже ей всего на свете. Они, так тесно связанные с поэтом, так сильно любившие его, так почитающие его память, естественно являлись лучшими, неподкупными судьями и, признавая в ней жертву обстоятельств, а не виновницу их, укрепляя в ней веру в свою правоту, внушали не хватающую силу на борьбу с тайной, не дремлющей злобою.

Нигде она так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ея, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность.

Это был Лермонтов.

Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз.

Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолического струей подходило к настроению ея души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонению его таланту так и рвалась ему на встречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста. Постоянно

---

[1] Князь Петр Иванович Мещерский был женат на дочери историка Н. М. Карамзина Екатерине Николаевне. Николай Михайлович Карамзин был женат на сестре поэта Петра Андреевича Вяземского Екатерине Андреевне. В результете брака Ивана Николаевича Гончарова и Марии Ивановны Мещерской Наталья Николаевна Пушкина породнилась и с Карамзиными, и с Вяземским, с которым Пушкин был дружен и вывел его в одной из глав «Евгения Онегина». */Прим. сост./*

вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали незримую, но непреодолимую преграду, выросшую между ними.

Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прости собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновеннаго, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нея местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью...

Он точно стремился заглянуть в тайник ея души и, чтобы вызвать ея доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравившия его жизнь, каялся в резкости мнений, в безпощадности осуждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним неповинных людей.

Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой, не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощнаго, отлетевшаго духа, но живое участие пробудилось мгновенно и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами, она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того, как слова непривычным потоком текли с ея уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший досель их отношения, таял с быстротою вешняго снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутренняго просветления.

В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:

— Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему, здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ея обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собою вечный упрек в близорукости, безплодное сожаление о даром

утраченных часах! Но, когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.

— Прощать мне вам нечего, — ответила Наталья Николаевна, — но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом.

Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце ея болезненно сжалось. Прощальный вечер так наглядно воскрес в ея памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкаго!

Мне было шестнадцать лет, я с восторгом юности зачитывалась «Героем нашего времени» и все разспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и дуэли. Мать тогда мне передала их последнюю встречу и прибавила:

— Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собою в могилу.

Силою обстоятельств Наталья Николаевна понемногу втянулась в прежнюю светскую жизнь, хотя и не скрывала от себя, что для многих это служит лишним поводом упрекнуть ее в легкомыслии и равнодушном забвении. Но она не в силах была устоять деспотическому влиянию тетушки, настаивавшей на принятии любезных или лесных приглашений и не допускавшей даже мысли об отклонении чести появления во дворце. А император часто осведомлялся о ней у престарелой фрейлины, продолжая принимать живое участие в ея судьбе, интересуясь изданием сочинений Пушкина, входя в материальное положение осиротелой семьи, и выражал желание, чтобы Н. Н. попрежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов.

Одно из ея появлений при Дворе обратилось в настоящий триумф.

В залах Аничковскаго дворца, взамен обычных танцовальных вечеров, на которые в виду их интимности добивались приглашения, как знака высочайшей милости, состоялся костюмированный бал в самом тесном кругу.

Екатерина Ивановна выбрала и подарила племяннице чудное одеяние в древне-еврейском стиле, — по известной картине, изображавшей Ревекку. Длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие, палевые шальвары, плотно облегал стройный стан, а легкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка, мягкими складками обрамляло лицо и, ниспадая на плечи, еще рельефнее подчеркивало безукоризненность классического профиля.

— Cegu'it faut être sûre de sa beauté, pou oser arborer semblable coiffure![1] — восторженно воскликнул парикмахер, любуясь своим изделием.

И с первых шагов во дворце всеобщее внимание подтвердило вырвавшийся у него вердикт. Всеобщая волна восхищения более смущала скромность Натальи Николаевны, чем льстила ея самолюбию, и она еще до выхода царской семьи забилась в самый далекий, укромный уголок. Но ея высокий рост выдал ее орлиному взгляду Николая Павловича, быстро окинувшему зало.

Как только начались танцы, он направился к ней и, взяв ее руку, повел в противоположную сторону и поставил перед императрицей, сказав во всеуслышание:

— Regardez et admirez![2]

Александра Федоровна послушно навела лорнет на нее и со своей доброй чарующей улыбкой, ответила:

— Oui, belle, bien belle on verite! C'est ainsi gue votre image aurait dû passer à la postérité![3]

Она продолжала милостиво разспрашивать мать о подробностях ея костюма, но отвечала ли она ей удачно или невпопад, этого она потом никак сообразить не могла, до такой степени растерялась от непредвиденнаго инцидента.

---

[1] Как надо быть убежденной в своей красоте, чтобы дерзнуть появиться в подобной прическе!

[2] Смотрите и восхищайтесь.

[3] Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! Ваше изображение таким должно бы было перейти потомству.



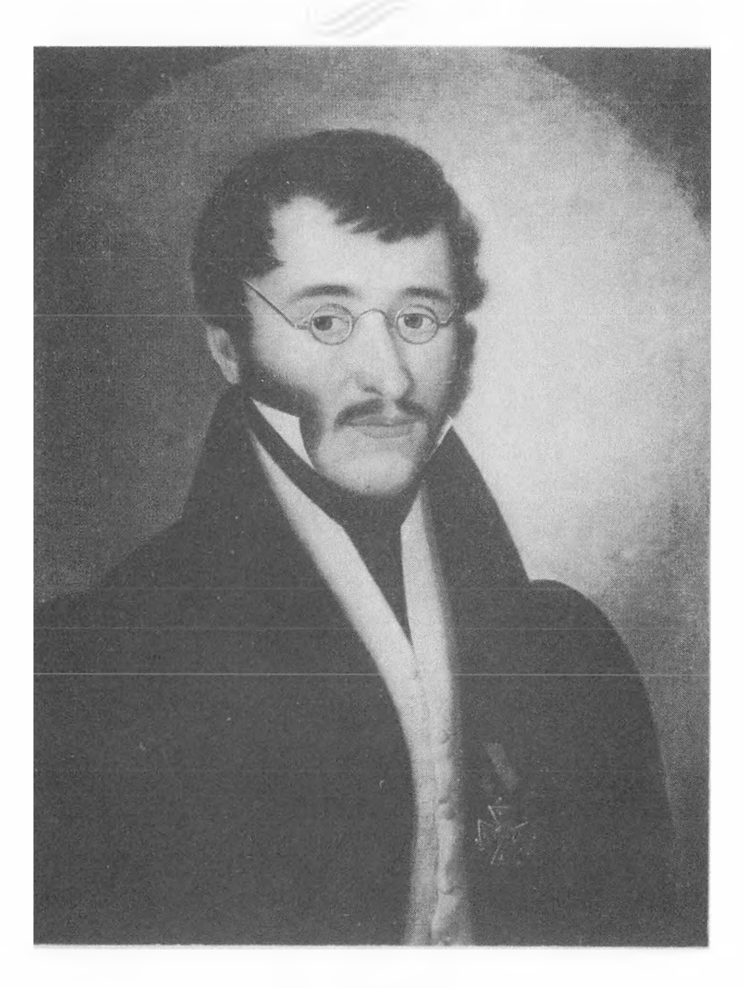
А. П. Арапова (Ланская)



А. А. Гончаров



Н. И. Гончарова



Н. А. Гончаров



Д. Н. Гончаров



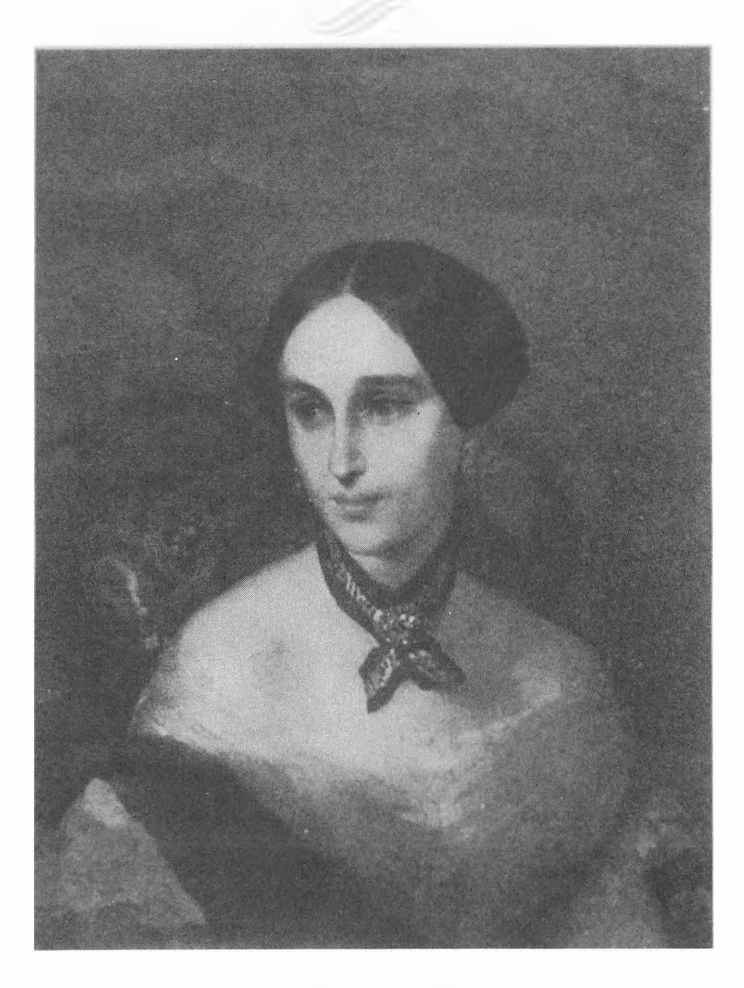
А. Н. Гончарова



Е. Н. Гончарова



А. С. Пушкин. 1830 г.



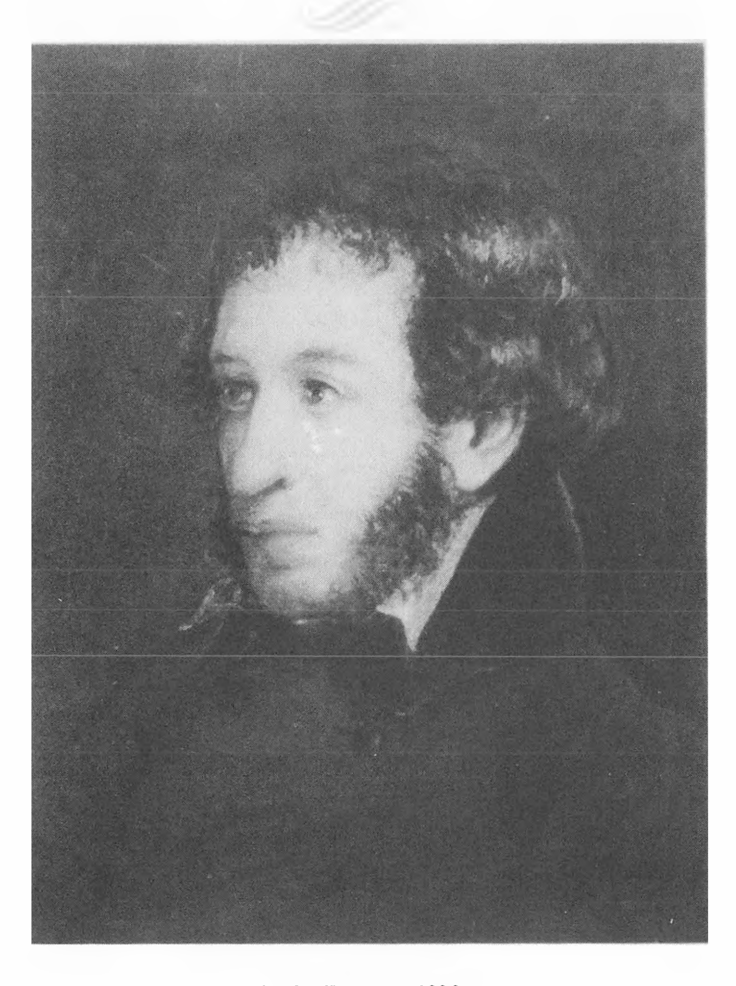
Н. Н. Пушкина. 1830-е гг.



Е. И. Загряжская. 1820-е гг.



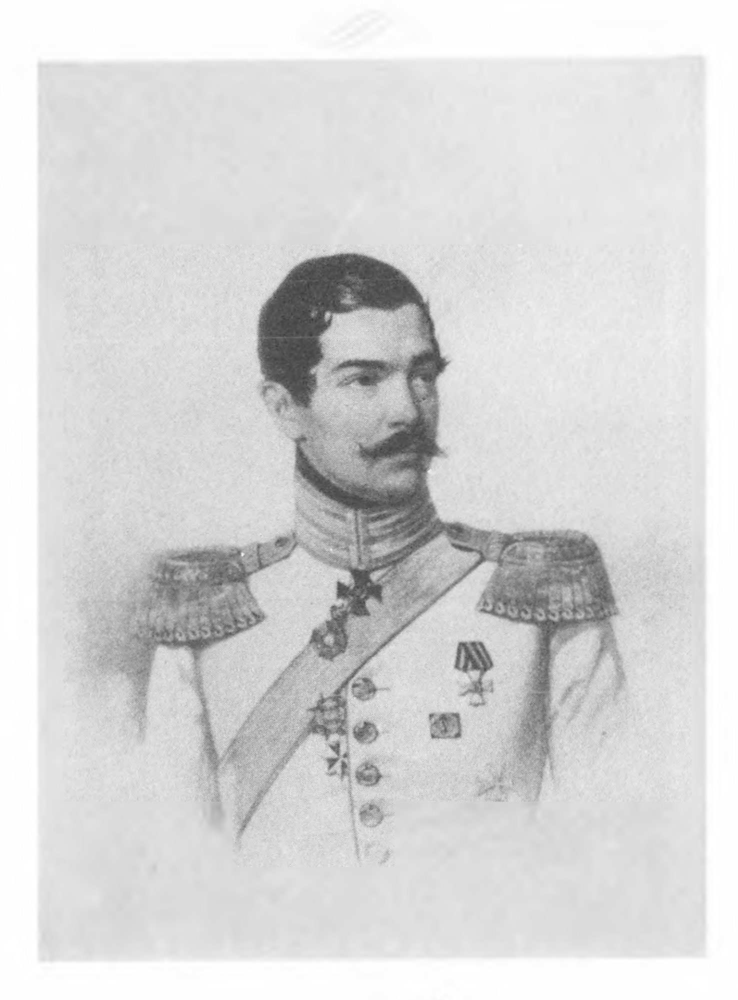
Е. А. Карамзина



А. С. Пушкин. 1836 г.



Ж. Дантес



П. П. Ланской



Н. Н. Ланская



Петербург. Мойка. Январь 1837 г.

— Мне кажется, легче было бы провалиться сквозь землю, чем выстоять под всеми, точно впившимися в меня взглядами, — заключила она разсказ о самом блестящем успехе ея молодости.

Император поспешил исполнить желание, выраженное супругою. Тотчас после бала придворный живописец написал акварелью портрет Натальи Николаевны в библейском костюме для личного альбома императрицы. По ея словам, это вышло самое удачное изображение из всех тех, которые с нея снимали. Вероятно, альбом этот сохранился и теперь в архиве Аничковскаго дворца, но никому из детей не привелось его видеть.

Мать, наученная горьким опытом, держала себя так скромно и неприступно, что скоро отбивала охоту ухаживания у людей, которые на это покушались.

Екатерина Ивановна, чувствовавшая, что смерть уже не за горами, часто тревожилась мыслью о ея необеспеченности в будущем и лелеяла сокровенную мечту видеть ее пристроенною и обретшою счастье в новой жизни.

Но осуществления этого желания было не легко достигнуть.

Многие, под влиянием искренняго увлечения, пожалуй бы и решились жениться на вдове-бесприданнице, но одна мысль о неизбежной обузе, в виде четырех малолетних детей, всегда действовала отрезвляющим душем.

Тем не менее, года за два до ея второго замужества Наталье Николаевне представилась возможность сделать одну из самых блестящих партий во всей России. В нея влюбился князь Г. обладатель колосального состояния.[1]

Вопрос о средствах, конечно, не мог играть тут никакой роли, но он вообще не любил детей, а чужие являлись для него подавно непосильным бременем. Мальчики еще казались меньшим злом, так как приближалось время, когда они должны были поступить в учебныя заведения, но с девочками пришлось бы возиться, иметь их вечно перед глазами. Единственным исходом было заручиться обещанием воспитывать их в детском отдельном апартаменте, до первой возможности поместить их в институт — тем легче, что по смерти Пушкина государь предоставил Наталье Николаевне выбор в любой из них.

---

[1] Возможно, это был князь Александр Сергеевич Голицын, штабс-капитан лейб-гвардии конной артиллерии, сослуживец братьев Карамзиных. */Прим. сост/.*

Мать всегда была убежденным врагом институтскаго воспитания, находя, что только родной глаз может следить зорко за развитием детскаго ума и сердца, что только нежная опытная рука способна посеять и вывести добрыя семена. И достаточно было подосланному лицу только заикнуться о придуманном плане устранения преграды, чтобы она наотрез заявила:

— Кому мои дети в тягость, тот мне не муж!

Князь не сумел оценить это материнское самоотвержение, предпочел ему эгоистический покой, и прекратил свои посещения.

И эту женщину, всегда стремившуюся жить на пользу близким, выше всего ставившую благо детей, принято шаблонно изображать пустой, холодной, алчнорасточительной!

Явился еще один претендент, упорно преследовавший ее предложениями, но она на него и внимания не обращала, так как единственным его преимуществом были значительные средства. Нравственныя достоинства были под общим сомнением, а его невзрачная, сутуловатая фигура еще карикатурнее выглядывала рядом с ней.

Старший брат и теперь с улыбкой вспоминает, как он служил ему покорной мишенью, когда подкараулив семейную прогулку в Летнем саду, он присоединялся к ним, и шаловливый мальчик нарочно отставал, бросая мячик и всякий раз стараясь попасть ему в спину. Мать, по близорукости или занятая беседою, не примечала проказу, а влюбленный терпеливо ее переносил, не смея выказать справедливаго неудовольствия.

Долго старался он отуманить Наталью Николаевну соблазном роскошной жизни, но, уразумев в конце концов тщетность своих надежд, оставил ее в покое и лишил тем брата излюбленных развлечений.

Я полагаю, что сама мать не подозревала о третьем случае сильной любови, которую она внушила одному из самых изящных и красивых наших дипломатов, Николаю Аркадьевичу Столыпину. Часто беседуя о трех братьях, с которыми она была хорошо знакома по сестре их, молодой княгине Вяземской, она никогда не упомянула его имени в рядах ея поклонников, и только после свадьбы моей дочери с его единственным сыном вдова Столыпина разсказала мне, как он, приехав в отпуск в Россию, при первой встрече был до того ошеломлен красотою Н. Н.,

что она грезилась ему и днем и ночью, и с каждым свиданием чувство его все сильнее разгоралось.

Но грозный призрак четырех детей неотступно возставал перед ним; они являлись ему помехою на избранном дипломатическом поприще, и борьба между страстью и разумом росла с каждым днем. Зная свою пылкую, увлекающуюся натуру, он понял, что ему остается только одно средство противустоять безразсудному, по его мнению, браку, — это немедленное бегство. К нему-то он и прибегнул.

Не дождавшись конца отпуска, он наскоро собрался, оставив в недоумении семью и друзей, и впоследствии, когда заходила речь о возможности побороть сильное увлечение, он не без гордости приводил свой собственный пример.

Вряд ли нашлось бы много женщин, способных отклонить богатых женихов в те самыя минуты, когда стесненность в средствах назойливо проявлялась каждый день.

Ничего нет тяжелее обязанности вращаться в кругу очень богатых людей, когда каждая копейка на счету. Из гончаровских средств Наталья Николаевна ничего не получала; деньги, выручаемыя с пушкинских изданий, пошли на выкуп остальных частей Михайловскаго, доставшагося после Надежды Осиповны ея детям, а доходы с него были весьма скудны. Самым верным подспорьем являлась 3.000 руб. пенсия, назначенная императором вдове и детям поэта.

Этого не хватало, и мелкие долги, вытекающие из жизненнаго обихода, тяжелым гнетом ложились на скромный бюджет, и постоянно нарушали покой матери.

К этому времени относится анекдот, который так часто упоминался в семье, что с годами он даже облекся в форму поговорки, бывшей в большом употреблении между нами. Наталья Николаевна пользовалась некоторым кредитом в магазине Погребова в Гостином дворе, и в силу этого все необходимое забиралось там. Уплата иногда затягивалась долее обыкновеннаго, и тогда появлялся сам хозяин, прося доложить о нем.

Горничная или няня, не желая ее безпокоить, в особенности если это совпадало с периодом остраго безденежья, пытались отговорить его, доказывая, что если речь идет об уплате по счету, то это будет лишь напрасный труд, так как денег из деревни еще не выслали и неоткуда их взять.

— Не в деньгах дело, — с достоинством отвечал кредитор, — я в них не нуждаюсь, но хочу лично видеть Наталью Николаевну, чтобы от них самих узнать, чувствуют ли оне мое одолжение?

Это требование являлось настолько законным, что мать немедленно принимала его, своим приветливым голосом благодарила за оказанное доверие и добродушное терпение. Под обаянием ея любезности, он уходил, вполне удовлетворенный словами, до той поры, когда являлась возможность удовлетворить его деньгами.

Нас же всех так потешала оригинальность этой мысли, что, часто оказывая друг другу просимую услугу, мы прибавляли в шутку:

— Хорошо, только чувствуешь ли ты это?

Летом 1843 г., когда Наталья Николаевна жила в Михайловском, она получила известие о тяжелой утрате, постигшей ее. Е. И. Загряжская, любившая ее куда больше родной матери, неожиданно скончалась, и несмотря на близость Псковской губернии, ее не успели вызвать к смертному одру.[1] С ней она лишилась единственной надежной опоры, осиротелость души еще болезненнее давала себя чувствовать.

По натуре не разсчетливая, чуждая практической сноровки в жизненных вопросах, в своем горе она не останавливалась на материальном значении этой смерти для ее дальнейшаго существования.

Екатерина Ивановна не раз выручала ее в тяжелыя минуты и часто заявляла окружающим о своем намерении обезспечить будущность любимой племяннице, оставляя ей по духовному завещанию село Степанково, Московской губернии, с числящимися при нем пятьюстами душами.

Но, по свойственной престарелым людям боязни накликать смерть, она все откладывала изложить свою волю в узаконенной форме и должна была ограничиться только тем, что умирая, чуть не со слезами умоляла сестру и единственную наследницу, графиню де-Местр, исполнить ея последнее желание и тотчас же передать ея дорогой Наташе имение, ей давно уже предназначенное.

[1] В тексте А. П. Араповой неточность. Е. И. Загряжская умерла 18 августа 1842 года. */Прим. сост./*

При первом свидании, — если не ошибаюсь, чуть ли не на похоронах, — Софья Ивановна, под горячим впечатлением, передала племяннице эту предсмертную беседу, заявляя полную готовность подчиниться устному распоряжению покойной.

Для Натальи Николаевны это наследство являлось целым независимым состоянием, и она свободно могла бы вздохнуть от постоянных мелких дрязг, но подобные порывы не всегда осуществляются.

Прошло несколько времени, и Наталья Николаевна была приглашена на торжественную аудиенцию к графине Софье Ивановне. Она видимо стеснялась говорить о происходящей перемене в ея намерениях, совесть ея, вероятно, протестовала против несправедливаго деяния, и она предоставила слово графу Григорию Строганову, который холодным напыщенным тоном объявил Наталье Николаевне, что ему удалось убедить графиню не поддаваться влечению ея добраго сердца. Было бы безрассудно доверять целое состояние такой молодой, неопытной в делах женщине; до сих пор она всегда во всем подчинялась признанному авторитету Екатерины Ивановны, служившей ей опытной руководительницей, но кто может поручиться, что с сознанием независимости в ней не пробудится жажда полной свободы?

В заключение нравоучительной проповеди объявлялось, что графиня, не оспаривая ее право в будущем на завещанное наследство, решила в настоящем не оформлять его и сохранить имение в своих руках, а доходами распоряжаться по своему усмотрению и из них уделять Н. Н. столько, сколько ей покажется нужным для ея поощрения.

Из всего высказанного последнее показалось матери самой горькой обидой.

Легко было Строганову с высоты своих милионов относиться к ея стесненному положению; простительно престарелой тетушке считать ее еще девочкой, несмотря на тридцатилетний возраст; но предполагать, что она способна перед ней унижаться, заискивать ея расположения ради детей, — этого не могла она снести. С необычайной для нея твердостью она ответила, что графиня вольна поступать как ей заблагоразсудится, но что она напрасно думает, что, удержав имение, она приобретает на нее большее влияние, по выражению графа, «может забрать ее в руки». Напротив, всякое желание проявить ласку, оказать предупредительность

будет отныне сковано мыслью навлечь на себя подозрение в корыстной цели. Не денежную помощь ценила она в Екатерине Ивановне, а ту материнскую заботу, которой она постоянно ее окружала. И столько было искренности, горячаго чувства к ее отповеди, что, хотя они и не отступили от намеченнаго плана, но нравственная победа осталась не за седовласыми богачами, а за обездоленной ими молодой женщиной.

Несмотря на все лишения, усугубившиеся за последний год ее вдовства, она никогда не упрекала тетку в несправедливости и корысти и убежденно повторяла, что, не вмешайся граф Строганов с своими советами и внушениями, она не преминула бы исполнить последнюю волю умершей сестры.

В этом же году, в весьма близком разстоянии от Екатерины Ивановны, скончалась также Екатерина Николаевна Геккерен, в Альзасе, в замке Soultz, принадлежащем ее мужу.[1]

Хотя, как выше уже было сказано, смерть Пушкина прервала всякие отношения между сестрами, — от других членов семьи я узнала, что тревожное предчувствие Натальи Николаевны относительно супружеского счастья сестры сбылось. Разочарование в надеждах и ревниво гложущее горе, подтачивая организм, преждевременно свели ее в могилу.

Она привязалась к мужу с беззаветной страстью, и годами убеждалась, что ничто не в силах победить его равнодушие и холодность. Она была готова пожертвовать жизнью, чтобы изгладить роковое прошлое, и болезненно чувствовала, что сама служит неразрывным звеном с далекой, но незабвенной соперницей.

У нее одна за другой родились три дочери, своим появлением на свет нанося ей тяжелый удар. Она знала, что муж жаждет иметь сына и хваталась за эту мечту, как за последнее средство вызвать в нем искру благодарной любви.

Экзальтированный склад ума приготовлял в ней благоприятную почву для католической пропаганды. Искусный аббат улавливал страждущую душу для царства небеснаго земной приманкой. Он настойчиво твердил ей, что Мадонна сжалится над ней, прекратит ея душевные муки, даруя

---

[1] В тексте А. П. Араповой неточность. Е. Н. Геккерен, урожденная Гончарова, скончалась на год позже своей тети Е. И. Загряжской 15 октября 1843 года.

сына, но необходимо отречься от еретических верований: тогда она заслужит любовь мужа и в единой истинной римской церкви обретет счастье и покой. При первых признаках ея четвертой беременности, жители Soultz с удивлением смотрели, как чужеземная госпожа с босыми ногами отправлялась в отдаленную капеллу и, слезно молясь перед изображением Божьей Матери, строго исполняла положенныя neuvain.[1]

Рождение долго желанного сына Georges ярким проблеском счастья озарило ея сосчитанные дни. Она сдержала данный обет, готовая сейчас отречься от православной веры, но римская курия слишком дорожила своими победами, чтобы не обставлять их как можно пышнее, и клерикальные газеты уже поспешили оповестить об ожидаемом переходе баронесы Геккерен в католицизм, имеющем совершиться в Париже, в аристократическом приходе St. Madeleine. Торжеству этому не суждено было свершиться, религиозная нетерпимость престарелой матери была пощажена: Екатерина Николаевна не дожила до назначенного дня.

Болезнь послеродового периода сразила ее в короткий срок, и она скончалась как бы на рубеже двух враждующих религий. Впрочем, похороны ея состоялись в Soultz по католическому обряду.

Из трех сестер Гончаровых, так строго воспитанных в православном духе, одна только Наталья Николаевна сохранила ненарушимо до смерти внушенные заветы и прилагала все старания привить их своим детям.

По оригинальному совпадению, кончина баронесы Фризенгоф[2] имела черты схожие с вышеприведенным.

Уже в сороколетнем возрасте вышедши замуж за Австрийца и поселившись в Вене, она не только оставалась верна своей религии, но даже настояла, чтобы ея единственная дочь была крещена в православии. Существование там русской церкви давало ей возможность удовлетворить свои духовныя потребности.

Так продолжалось более двадцати лет.

Затем ея дочь была помолвлена за брата владетельнаго герцога Ольденбургскаго, Элимара, но, в виду противодействия его семьи и родства с нашим Императорским Домом, отец Раевский, не желая навлекать на

[1] Молитва в течение девяти дней.
[2] Александра Николаевна — старшая сестра Н. Н. Пушкиной.

себя неприятностей, категорически отказался венчать их сам и даже не допустил брака в посольской церкви.

Свадьба тем не менее состоялась там же, но в греческой.

Этого поступка было достаточно, чтобы тетушка с ним рассорилась на век и порвала всякие сношения с русским причтом.

Первое время она еще посещала греческую церковь, но служба на непонятном языке тяготила ее; года сказывались усталостью, повлекшей за собою нерадение к службам, и мало-по-малу она дошла до полнаго отпадения от православия. В редких случаях она присутствовала при лютеранском богослужении и, дожив до весьма преклоннаго возраста, скончалась настоящей некудышницей, по типичному выражению русских сектантов.

Смерть застала ее в Brodyan, в Венгрии, в имении, доставшемся ея дочери, и схоронили ее там по лютеранскому обряду в семейной каплице.

В начале зимы 1844 года состоялось первое знакомство моего отца с Натальей Николаевной Пушкиной. За год перед тем он перенес сильное душевное потрясение.

Легкомысленная измена женщины, которой он безраздельно посвятил лучшие годы молодости, так сразила его, что он подвергся долгой, изнурительной болезни, и только самоотверженный уход младшей сестры спас его от грозящей смерти.

Доктора отправили его на воды, за границу, и, отдыхая от сложнаго лечения, он провел всю осень в Баден-Бадене, где близко сошелся с Иваном Николаевичем Гончаровым и женою его, урожденной княжною Мещерской. Отпуск его кончался, и, узнав, что он едет прямо в Петербург, они попросили его доставить письмо и посылку находящейся там сестре.

Это и послужило поводом к первому визиту. Мать была особенно дружна с этим братом; с живым интересом разспрашивала о нем, о их совместной жизни; тема оказалась благодарной. Отец вопреки свойственной ему молчаливости, разговорился о заграничных впечатлениях и не приметил даже, как быстро прошло время. Откланиваясь, он, в знак

благодарности за оказанную услугу, получил радушное приглашение бывать у Н. Н. и, конечно, воспользовался им.

В течение зимы посещения эти все учащались и с каждым разом он все более и более испытывал ея чарующее обаяние. В сердце, изсушенном отвергнутой страстью, незаметно всходили новые побеги, пробуждалась жажда другого, тихаго счастья. И невольно вспоминались тогда слова женщины, влияние которой даже и разрыв не мог уничтожить: «Avec la sentimentalité de votre esprit et la fidelité de votre attachement gui rivalise avec le lieré, il n'ya gu'une femme au monde capable de faire votre bonheur, c'est — Nathalie Pouchkine, et c'est bien celle gue vous devriez épouser.»[1]

Благодаря подобным размышлениям, мысль о браке незаметно вкралась в голову закоренелаго холостяка.

Ему тогда только что исполнилось сорок пять лет (он оказался на три месяца старше Пушкина),[2] и, конечно, не с легкомыслием увлекающагося юноши мог решиться на такой важный шаг.

Личное состояние отца было очень незначительно, но это был акуратный по природе человек, с весьма скромными потребностями, и доходов хватало с избытком на его холостую жизнь. Обзавестись разом многочисленной семьей являлось задачей, спугнувшей предшествовавших женихов, и сам он призадумался над ней, опасаясь осложнений и тревог в будущем.

Пробудившаяся любовь все громче заявляла свои права, внутренний голос настойчиво твердил: ты обрел свое счастье, не упускай его!

А время все шло, наступила весна.

Наталье Николаевне советывали повести детей на морские купанья, и, соблазнившись пребыванием четы Вяземских в Гельсингфорсе, она сговорилась с ними туда поехать.

Все приготовления были уже сделаны, день отъезда назначен, даже билеты на всю семью заблаговременно взяты в мальпост.

---

[1] С сентиментальностью вашего ума и верностью привязанностей, соперничающей с плющом, во всем мире существует только одна женщина, способная составить ваше счастье — это Наталья Пушкина, и на ней-то вам следовало бы жениться.

[2] Петр Петрович Ланской родился 13 марта 1799 года. */Прим. сост./*

Отец пришел к заключению, что эта разлука послужит ему на пользу. Вдали от обворожительной красавицы, ему легче будет обсудить положение и хладнокровно взвесить шансы pro и contra предполагаемого шага. Если, — размышлял он, — за три — четыре месяца чувство его только сильнее разовьется, то никакие преграды его не остановят, и он уже обдуманно и сознательно решит свою судьбу. Пустой случай, в котором он не преминул узнать Промысел Божий, всегда ему покровительствовавший, мгновенно разбил все доводы разсудка и привел его к неожиданному, но желанному концу, за который он не переставал благословлять Провидение до последней минуты своей долгой жизни.

За два дня до отъезда Наталья Николаевна, лежа на кушетке, читала книгу, и одна из ея ног от неудобнаго положения онемела.

Старший сын тем временем брал последний урок. Гувернантка, вручая возвращенный учителем cachet, бывшия тогда в общем употреблении, просила денег для уплаты по ним.

Мать, не отдавая себе отчета в происшедшем, поспешно встала, и нога у нея так несчастно подвернулась, что она упала от острой боли, с вырвавшимся криком. Пришлось поднять ее с посторонней помощью; доктор константировал вывих щиколотки и предписал лежачее положение и безусловный отдых на несколько недель.

Путешествие пришлось отложить. Знакомые разъехались. Отец чуть не ежедневно стал навещать одинокую больную. Он имел основание ожидать скораго назначения командиром армейскаго полка в каком-нибудь захолустье, что могло бы сильно осложнить воспитание детей Пушкиных, как вдруг ему выпало негаданное, можно сказать, необычайное счастье.

Особым знаком Царской милости явилось его назначение прямо из свиты командиром лейб-гвардии Коннаго полка, шефом котораго состоял Государь, питая к нему особое благоговение.

Обширная казенная квартира, упроченная блестящая карьера расширяли его горизонт и, не откладывая дольше, он сделал предложение.

Пушкинское видение исполнилось! С тихой радостью окончила Н. Н. свое одинокое скитание, почуяв себя у верной, спокойной пристани. С полным доверием поручила она честной благородной душе участь своих

детей, для которых ея избранник неизменно был опытным руководителем, любящим другом. Слово «отец» нераздельно осталось за отошедшим.

«Петр Петрович» — был он для них прежде, таким и остался на-век. Но вряд ли найдутся между отцами многие, которые бы всегда проявляли такое снисходительное терпение, которые так безпристрастно делили бы ласки и заботы между своими и жениными детьми. Лучшей наградой исполненнаго долга служило ему сознание теснаго неразрывнаго союза, сплотившаго нас всех семерых в одну любящую, горячо друг другу преданную семью.

Когда отец явился к государю с просьбой о дозволении ему жениться, Николай Павлович ответил ему:

— Искренне поздравляю тебя и от души радуюсь твоему выбору! Лучшаго ты не мог бы сделать. Что она красавица, это всякий знает, но ты сумел оценить в ней честную и прямую женщину. Вы оба достойны счастья, и Бог пошлет вам его. Передай своей невесте, что я непременно хочу быть у нея посаженным отцом и сам благословить ее на новую жизнь.

16 июля 1844 года, после полудня скромный кортеж направлялся пешком в приходскую церковь Стрельны, — летней стоянки Коннаго полка.

Несмотря на так ясно выраженное желание Царя, мать уклонилась от этой чести. Она не скрывала от себя, что ее второе замужество породит много толков и осуждений, что ей не простят, что она сложила с себя столь прославленное имя, и хотя присутствие государя, осеняя ея решение могучим покровительством, связало бы не один ядовитый язычек, она предпочла безоружною выйти на суд общественнаго мнения и настояла, чтобы свадьба состоялась самым незаметным, тихим образом.

Почти никто не знал о назначенном дне, и кроме самых близких, братьев и сестер с обеих сторон, не было ни одного приглашеннаго. Невеста вошла в церковь под-руку с женихом, более чем когда либо пленяя своим кротким видом и просветленной красотой.

Комический эпизод, часто вспоминаемый впоследствии, нарушил однако же сосредоточенное внимание присутствующих, едва не вызвав переполох.

Молодой граф, впоследствии князь, Николай Алексеевич Орлов, состоявший в то время закорпусным камер-пажем, очень был заинтересован свадьбою своего будущаго командира со вдовою Пушкина и тщетно старался проникнуть в церковь, строго охраняемую от посторонних. Но препятствия только раздражали его любопытство и, надеясь хоть что-нибудь да разглядеть сверху, он забрался на колокольню, в самую торжественную минуту он задел за большой колокол, раздался громкий удар, а Орлов с испугу и растерянности не знал, как остановить предательский звон.

Когда дело объяснилось, он, страшно сконфуженный, извинился перед новобрачными, и это оригинальное знакомство с моей матерью послужило первым звеном той дружеской близости со всей нашей семьей, которая не прекращалась до той поры, когда служебная деятельность удалила его из России.

На другой день отец отправился в Петергоф с щекотливой мисией — доложить государю о совершившейся свадьбе и о причинах, побудивших жену отказаться от выпадавшей ей на долю высокой милости.

При всей благосклонности царя, он чувствовал, что сердце было у него не на месте. Как отнесется государь к подобному своевольному поступку?

От зоркаго глаза Николая Павловича не ускользнуло его смущение. С первых слов извинения он ласково остановил его:

— Cella suffit! Je comprends et j'approuve les scrupules qui font honneur á la delicatesse de son âme.[1] На другой раз предупреждаю, что от кумовства так легко не отделаетесь. Я хочу и буду крестить твоего перваго ребенка.

Вслед за тем царский посланный привез матери брилиантовый фермуар, как предназначенный ей свадебный подарок, а почти год спустя, 16 июня 1845 года государь лично приехал в Стрельну. Приняв меня от купели, он отнес матери здоровую, крепкую девочку и, передавая ей с рук на руки, шутливо заметил:

— Жаль только одно — не кирасир!

---

[1] — Довольно! Я понимаю и одобряю те соображения, которыя делают честь чуткости ея души.

VIII

Для лиц интересующихся дальнейшей судьбою матери, я могу добавить весьма немногое почерпнутое из собственных воспоминаний.

Не даром сложился французский афоризм: les peup'es heureux n'ont pas d'histoire.[1]

Жизнь ея, вступив в обыденную колею, не заключала выдающихся событий. Первые годы тяжелый и даже сварливый характер сестры ея, Александры Николаевны, часто нарушал безмятежный покой ея семейнаго счастья. Она обладала чертою, свойственной многим членам ея рода, — чертою, прозванной нами le sang Gontcharoff,[2] и заключающейся в том, что без всякаго повода они вдруг возненавидят кого-нибудь и начинают его преследовать.

Тогда, что бы эта обреченная личность ни предпринимала, как ни пыталась бы им угождать, все неизменно оборачивается в вину, ставится ей в укор.

Такое-то чувство стала питать тетушка к моему отцу.

Привыкшая никогда не разлучаться с матерью, она мучила ее своею ревностью, за которой, может быть, таилось чувство зависти: ея сестра нашла себе двух мужей, в то время как она сама как будто была обречена на несносную для нея судьбу старой девы.

Живя в доме зятя, она чуждалась его общества, обращалась с ним сухо и свысока, и днями сидела у себя в комнате, требуя, чтобы мать не оставляла ее в одиночестве. Доходило до того, что мать никогда не решалась ни прогуляться, ни прокатиться вдвоем с мужем, чтобы не навлечь на себя сестрин гнев. Но что для нея еще прискорбнее было, — это попытка Александры Николаевны злоупотреблять своим влиянием на детей, чтобы возстановить их против вотчима.

Все его поступки объяснялись в превратном смысле, она подговаривала детей на любезность или внимание отвечать колкостью или резким отказом.

---

[1] У счастливых народов нет истории.
[2] Гончаровская кровь.

Братья, проводившие большую часть времени в учебных заведениях, не поддавались ея наускиваньям и сразу оценили доброту и справедливость вотчима, но самую благоприятную почву она нашла в старшей сестре, которая отлично знала, что всякая ея выходка против вотчима получит немедленно поощрение.

Не успела тетушка покинуть дом, как сестра мгновенно прозрела, и теперь еще, вспоминая это, далеко уплывшее время, свой юношеский задор, она не может надивиться невозмутимому терпению моего отца и часто говорит:

«Будь я на его месте, как бы я злилась, как я сумела бы расправиться за ежедневные дерзости с моей стороны!»

Но ему был только дорог покой его обожаемой Наташи, и не было жертв, которыя он бы не принес в угоду ей.

Тетушка со своей стороны искренно любила мать, но как-то посвоему: эгоизм преобладал в ней. Она считала лишним бороться с своими враждебными чувствами, закрывая глаза на тот духовный разлад, который она насаждала в ея обиходе.

Она принимала ея угодливость, ея постоянные уступки как нечто должное и вполне естественное. Лет десять после ея замужества, когда сестра Наталья Александровна гостила у ней в Венгрии, она, беседуя с ней о прошлом, добродушно заявила: «Tu sais, il y a déjà longtemps que j'ai tout pardonné à Lanskoy».[1]

Та хорошо помнила, как она ему систематически отравляла жизнь, и только молча усмехнулась этому наивному великодушию.

Если я упоминула о семейной неурядице, тянувшейся около семи лет, то единственно, чтобы подчеркнуть кротость, отличавшую натуру матери.

Обыкновенно не легка жизнь родственницы, даже близкой, приютившейся из милости у чужого очага, – тут как раз было наоборот: «угнетенная» властвует, хозяйка подчиняется.

Со свадьбой и отъездом тетушки, в доме водворился ненарушимый мир и безмятежное спокойствие. Матери стало все улыбаться в жизни, но не на долгий срок.

[1] Ты знаешь, я уже давно все простила Ланскому.

Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против затаенной злобы завистливых врагов. Те самые люди, которые безпощадно клеймили ее и оскорбительно поворачивались спиною во время вдовства, заискивающим образом любезничали, напрашивались на приглашения, — в особенности, когда в городе стало известно, как сам царь назвался к отцу на бал.

Этот эпизод ярко возстает в моей детской памяти.

В то время, когда старшая сестра уже выезжала в свет, великие князья Николай и Михаил Николаевичи были прикомандированы для изучения службы к Конному полку. Желая повеселиться, они намекнули, что не худо бы было воспользоваться обширным залом, чтобы потанцовать.

Это навело мать на мысль устроить вечеринку в полковом интимном кругу.

Каково же было ея удивление, когда отец, возвратившись от доклада у царя, взволнованно передал ей, что по окончании аудиенции Николай Павлович сказал ему:

— Я слышал, что у тебя собираются танцовать? Надеюсь, что ты своего шефа не обойдешь приглашением.

Трудно себе представить хлопоты, закипевшия в доме. Надо было принять государя с подобающей торжественностью, так как в ту пору редко кто из министров или высших сановников удостоивался подобной чести. Мне было тогда семь лет, и я с лихорадочным любопытством носилась по комнатам, следя за приготовлениями. Всю в слезах, еле-еле удалось моей старой няне уложить меня в постель. Я находила просто жестоким, что хоть из-за опущенной портьеры мне не хотят позволить взглянуть на крестнаго отца.

Я далека была от предчувствия, что судьба готовит мне блестящее вознаграждение.

Государь, прибыв в назначенный час, в разговоре с матерью осведомился, как поживает его крестница, и она разсказала ему о моем детском горе, что мне не довелось его увидеть.

— Узнайте, спит ли она? Если нет, то я сейчас пойду к ней.

Мать поспешно вбежала в детскую, застала меня с возбужденным лицом, прислушивающейся к долетавшим звукам оркестра, зажгла свечу

у теплившейся лампады и, радостно промолвив: «Царь к тебе идет», — скрылась метеором.

Более полвека прошло с тех пор, и я как сегодня помню трепетное биение моего сердца, детский восторг, охвативший мой ум! Не успел высокий силуэт государя появиться на пороге, как я быстрым, непредвиденным нянею, движением, вскочила на постель и с самым сосредоточенным видом голыми ногами изобразила глубокий реверанс, наподобие подмеченных мною на улице, когда дамы низко приседали при встрече с царем.

Государь неудержимо разсмеялся моей комической фигурке, взял меня на руки и расцеловал в обе щеки. Он ласково поговорил со мною, но что он мне сказал, — я не помню.

Я вся обратилась в зрение и впилась в него глазами, за то он и теперь как живой сохранился в моем воображении.

По его уходе, няня, укладывая, стала выговаривать мне, что я должна была бы спокойно лежать, а не вести себя непристойно, но я свысока отрезала, что она ничего не смыслит в придворном этикете.

Однако же на другой день, когда старшия сестры подняли меня насмешки, я мало-по-малу утратила веру в свою оценку светских приличий и, когда меня стали систематически изводить фразой: «Разскажи-ка, Азинька, как по этикету ты показала Царю свои голыя коленки», я уже сознавала свою провинность и сконфуженно опускала голову.

Нравственное затишье продолжалось для матери вплоть до несчастнаго брака сестры Таши с Михаилом Леонтьевичем Дубельт. Так как она еще в живых, то неуместным считаю оглашать подробности этой грустной истории. Ограничусь только замечанием, что хотя невеста насчитывала только шестнадцать лет, характер ея настолько сложился, что она сознательно приняла это решение.

Отец мой не долюбливал Дубельта. Его сдержанный, разсудительный характер не мирился с необузданным нравом, с страстным темпераментом игрока, который жених и не пытался скрыть. Будь Таша родная дочь, отец никогда не дал бы своего согласия, ясно предвидя горькия последствия; но тут он мог только ограничиться советом и предостережениями.

Между помолвленными не раз возникали недоразумения, доходившия до ссор и размолвок, мать смущалась ими, страдала опасением за будущее, приходила сама к сознанию необходимости разрыва, отбрасывая всякий страх перед суровым qu'en dira-t-on,[1] так как тогда куда строже относились к разстроенным свадьбам, но сестра противилась этому исходу, не соглашаясь взять обратно данное слово.

Надо еще прибавить, что мать поддавалась влиянию Дубельта, человека выдающегося ума, соединеннаго с замечательным красноречием. Он клялся ей в безумной любви к невесте и в твердом намерении составить ея счастье, и она верила в его искренность, а зрелость возраста (он на тринадцать лет был старше сестры) внушала ей убеждение, что он сумеет стать ей опытным руководителем.

В постоянной борьбе надежд и сомнений, разнородных влияний и наплывавших чувств, прошло время этой оригинальной помолвки. Наконец свадьба состоялась, и почти с первых дней обнаружившийся разлад загубил на век душевный покой матери.

Как часто, обсуждая этот роковой вопрос, равно как и все обстоятельства, его сопровождавшия, мы, уже умудренные опытом жизни, приходили к единодушному заключению, что единственный упрек, который мать могла себе сделать, состоял в том, что она не проявила достаточно силы воли и допустила совершение брака!

Но я уже объяснила, что отличительной ея чертой было не только сознавать свою вину, но всегда ее преувеличивать и прямо терзаться выпадавшей на ея долю ответственностью. Это произошло и в данном случае.

Она горько стала себя упрекать, что не сумела оберечь счастье дочери, что, ослепленная внешним блеском, она безсознательно натолкнула ее связать свою судьбу с человеком, котораго она не любила, и в каждой бурной сцене, постоянно между ними возникавшей, она являлась куда более, чем сама жена, страдающим лицом.

Конечно, нет мысли более мучительной для материнскаго любящаго сердца, и это сокрушенное сознание, с развитием семейной драмы, с каждым годом сильнее укоренялось в ней. Когда, наконец, летом 1862

---

[1] Что об этом скажут.

года произошел окончательный разрыв, и сестра с тремя малолетними детьми оказалась одинокой, без куска хлеба, скорбь ея достигла апогея и, непосильная изнуренному организму, много способствовала ея преждевременной кончине.

В материальном отношении мать безспорно родилась под какою-то зловещей звездою. Незадолго до брака сестры возникла строгановская история с пресловутым наследством Екатерины Ивановны Загряжской. Щедрыя намерения графини де-Местр не приминули обратиться в камни, которыми, по поговорке, вымощен ад.

Понятно, что, вышедши замуж, мать уже не нуждалась в ея денежной поддержке, и старушка считала, что она вполне исполняет волю умершей на каждый праздник даря матери и сестрам какие-нибудь материи, из которых обязательно было тотчас сшить платье и явиться в обновке на первый из ея дипломатических обедов.

Кухня ея славилась на весь Петербург, и на изысканный стол она никаких расходов не жалела. К подаркам эта система не применялась, но, взамен она изобрела для них доморощенную, наивную рекламу.

Всякий раз, что к ней приезжали в подаренной вещи, она внимательно оглядывала в лорнет с ног до головы и неизменно спрашивала:

— Comme c'est joli? où avez-vous trouvé cela?

— Mais c'est votre cadeau, ma tante, ne le reconnaissez-vous pas?

— En vérite? je suis si distraite! Cela n'est pas pour me vanter, mais c'est bien joli guand même![1]

И все добросовестно разыгрывали подобныя сценки раза три-четыре в год.

Графиня де-Местр скончалась в 1851 году летом, во время пребывания матери за границей, куда она отправилась для лечения на водах старшей сестры.

Она оставила духовное завещание, в котором пожизненное пользование ея состоянием предоставлялось ея мужу, дожившему уже до 90 лет, а по его смерти, минуя сыновей ея сестры Натальи Ивановны, до-

---

[1] — Как это красиво? Откуда это у вас? — Ведь это ваш подарок, тетя, разве не узнали? — В самом деле! Я так разсеянна! Не хочу хвастать, а все-таки очень красиво!

ставалось цельностью дальнейшему племяннику, графу Сергею Григорьевичу Строганову. Ему же вменялось в обязанность выдать Наталье Николаевне Ланской московское имение, завещанное ей еще Екатериной Ивановной, и выплатить разныя суммы поименованным в завещании лицам. Всего как долгов, так и обязательств насчитывалось сто с чем-то тысяч.

Граф де-Местр пережил ее менее года, и, переехав на лето к моей матери, тихо скончался на даче, в Стрельне.

Через несколько времени, когда граф Строганов вступил в свои права, к великому недоумению матери и еще сильнейшему негодованию, прежде чем передать завещанное имение, потребовал с нея уплаты половины причитающихся долгов, считая ея сонаследницей, но преднамеренно упуская из виду, что его львиная часть превосходит выдаваемую чуть ли не в десять раз.

В моей детской памяти, так и запечатались термины légataire и даже вдвойне, как настаивала упорно мать, и cohéritiere как властно доказывал Строганов. Термины эти порождали нескончаемые споры и колкую переписку.

Дело затягивалось.

Мать, наконец, объявила, что скорее откажется от наследства, чем согласится на поставленное условие. Оно было для нее прямо неисполнимо, при отсутствии личных средств и отказа в пользу дочерей причитающейся ей вдовьей части.

Тем временем братья Гончаровы надумали затеять процесс с Строгановым, разчитывая его выиграть на основании оплошно выраженной фразы. Графиня де-Местр, завещала ему все состояние, полученное от отца, а на деле оказывалось, что все ея имения достались от дяди и сестры, так как отец умер вполне разоренным, что вовсе не трудно было доказать.

Граф Строганов, взвесив шансы противников, объявил им откровенно, что закон, может быть, окажется на их стороне, но при судебной волоките (это происходило до реформы суда) им очень тяжела окажется тяжба с ним, и потому он им предлагает сто тысяч отступного, но никак не иначе, как если им удастся склонить сестру подчиниться его решению.

Мать долго и упорно отказывала.

Отец предоставлял ей полное распоряжение доходами, оставляя себе безделицу для личных нужд, но именно в виду этого доверия и деликатности ее прельщала мысль о достижимой независимости, а черезчур было обидно из-за разных ухищрений дважды лишиться выпавшаго наследства.

Я хорошо помню, как наконец она сдалась на горячия просьбы братьев, которых устраивало получение обещанных капиталов, и, им в угоду, она решилась пожертвовать своим самолюбием.

Отец внес графу Строганову пятьдесят пять тысяч, требуемыя им, но, по настоянию матери, была совершена на его имя купчия на эти 500 душ крестьян, и так как это случилось незадолго до уничтожения крепостного права то это оказалось даже не особенно выгодным предприятием. Она же с этой минуты порвала всякия сношения с семьей Строгановых, тем более, что старый граф, к справедливости котораго она тщетно взывала, как посвященнаго в обстоятельствах дела, уже раз отстранивший ее, оказался солидарным с сыном. Исключение составил только граф Григорий Александрович, как непричастный всему делу и сохранивший к ней прежнюю безпристрастную дружбу.

Смерь императора Николая Павловича случилась в самый разгар этих денежных дрязг и своей неожиданностью нанесла ей вдвойне тяжелый удар. Отец приехал из Зимнего Дворца и при мне сообщил ей скорбную весть. Побледневшее лицо словно окаменело под наплывом горя. Неутешно оплакивала она Царя-Благодетеля, собирая, как драгоценныя реликвии, все, что относилось к нему.

В ея заветной шкатулке хранятся у меня по сейчас два его автографа, цветы с гроба, поношенный темляк и платок с его вензелем.

Теплое участие, сошедшее на нее с высоты Престола в самую ужасную минуту ея жизни, неизменная доброта и поддержка, проявляемая ей и детям, создали в благодарном сердце тот благоговейный культ, который теплился в ней до последней минуты и ярко вспыхивал, как только доводилось произнести имя усопшаго царя.

В августе этого зловещаго 1854 года,[1] в бытность нашу в Петергофе, отец заболел холерою, сильно свирепствовавшей в Петербурге и окрестностях.

---

[1] В тексте А. П. Араповой неточность. Николай I скончался в 1855 году. /*Прим. сост.*/

С беззаветным самоотвержением мать ходила за ним, не отходя от постели больного, и ей удалось вырвать его из цепких рук витавшей над ним смерти.

Не успел он еще вполне оправиться и набраться сил, как получил приказание, по должности генерал-адьютанта, отправиться в Вятку, для сформирования местнаго ополчения. Россия стягивала в Кремль последний оплот в борьбе с наседающим врагом.

Относительно службы отец не признавал отговорок; он немедленно собрался в далекий тяжелый путь. Железной дороги, кроме Николаевской, не было; осень уже наступала.

Мать не могла решиться отпустить его одного и, несмотря на пережитое волнение и усталость, на общее недомогание, изредка уже проявлявшееся во всем организме, она храбро предприняла это путешествие. В этом случае, как и всегда, она не изменила своему правилу, никогда не думать о себе, когда дело коснется блага и удобства близких. Уступая желанию сестры Маши, нас троих, еще маленьких девочек, отправили с ней, с нашей гувернанткою и неразлучною няней к сестре Таше в Немиров, Житомирской губернии, где муж ея квартировал по должности начальника штаба.

Жгучей болью отозвалась в моем сердце эта первая разлука с матерью, и разнообразие впечатлений из окон громадной колымаги, смутно смахивавшей в моей памяти на Ноев ковчег, не скоро разогнала охватившую меня детскую грусть.

Курьезно было бы описать это путешествие. В сравнении с всюду введенным теперь комфортом, многим показалось бы оно баснословным, но здесь это не у места.

Одно только знаю, что брезгливое чувство, с которым я всю жизнь относилась ко всякаго рода передвижениям, несомненно запало во мне в эту отдаленную эпоху Крымской войны.

Вятка являлась прототипом провинциальнаго захолустья, по своей отдаленности служившаго надежным местом ссылки. Приезд генерал-адьютанта казался таким великим событием, что их чуть не с колокольным звоном встречали.

Местный кружок, состоящий из служебнаго персонала и богатых купцов, приготовился увидеть в лице матери важную, напыщенную свет-

скую даму, и долго не мог придти в себя от простоты ея, от доброты и отзывчивости, сквозившей в каждом слове, в каждом жесте.

Она, в свою очередь, возвращаясь в Петербург, увезла самую теплую память о своих «вятских друзьях», которые без всякаго стеснения прибегали к ней, когда требовалась какая-нибудь услуга в далекой столице.

И с каким усердием принималась она хлопотать то о помещении девочки в институт, то о определении на службу, то о выслуженной пенсии, то о смягчении наказания!

Долго благодатная память о знакомстве с ней сохранилась в том далеком крае.

Между прочим, ей удалось оказать большую услугу Салтыкову-Щедрину. Он был сослан в Вятку за свое сочинение «Запутанное дело». Нрава неуживчиваго, он стал во враждебныя отношения с окружающим обществом и жил отшельником, прямо изнывая от скуки и тоски.

Мать с ним познакомилась; сначала он чуждался ея, но искреннее участие покорило его гордость. Ей было так жаль его загубленной молодости, той творческой силы, которая могла заглохнуть в неподходящей среде, что она приложила все старания подбодрить его нравственно надеждою на близкую, лучшую будущность. Разставаясь, она завещала ему не унывать, а по приезде в Петербург принялась преследовать своими просьбами двоюроднаго брата отца, Сергея Степановича Ланского, занимавшаго пост министра внутренних дел, пока не достигла очень скоро помилования Салтыкова.

VIII

Отцу пришлось довести сформированное в Вятке ополчение только до Казани, так как там было получено известие о подписании мира[1] и приказ о распущении по домам.

---

[1] 1856 год.

Года проходили с пестрой вереницей забот и радостей. Чуть ли не последним счастливым событием для матери была свадьба старшаго брата Александра с племянницей отца, Софьей Александровной Ланской. Мать была всегда одинаково добра и ласкова со всеми детьми, и трудно было отметить фаворитизм в ея отношениях. Однако мы все как-то полагали, что сердце ея особенно лежит к нему. Правда, что и он, в свою очередь, проявлял к ней редкую нежность, и она часто с гордостью заявляла, что таким добрым сыном можно похвалиться.

Соня была круглая сирота; мать знала ее с самаго детства, изучила ея тихий, кроткий нрав, те сердечные задатки, из которых вырабатывается редкая жена и примерная мать, подозревала даже ту сильную привязанность к брату, которую она тщательно от всех скрывала и ради которой отвергала партии выгоднее и блестящее его. Одним словом, этот брак являлся для матери исполнением заветной мечты, но ни единым намеком она не навела брата на эту мысль, постоянно мучаясь своей опрометчивости в грустном выборе дочери.

Она страшилась даже косвенно повлиять на него, и можно себе представить радостное изумление, когда он неожиданно пришел просить ея согласия!

Но и тут для нея не обошлось без мучительной тревоги.

Дней за десять до свадьбы явился священник Коннаго полка, в котором брат служил, и объявил, что он отказывается совершить брак из-за родственных отношений, потому что такой брак против канонических правил.

Никто в семье даже не подумал о подобном затруднении и в первую минуту это сочли взбалмошной придиркой. Мать точас же поехала к своему духовнику, протопресвитеру Бажанову, и вернулась страшно разстроенная. Он подтвердил ей, что это правило установлено вселенским собором, и сам митрополит не властен дать разрешения. Жених и невеста были как громом поражены. Оставался один исход — прибегнуть к власти Царя, воззвать к его состраданию и милосердию.

Мать так и поступила.

Ей представился случай лично изложить императору Александру Николаевичу историю этой юной, пылкой любви, изобразить разбитое сердце невесты на самом пороге желаннаго счастья, и он отнесся сочувственно

к обрушившемуся на них удару. Прокурору Св. Синода, графу Толстому было высочайше поручено уладить это дело.

Он уговорил митрополита дать благословение священнику, который согласится совершить недозволенный брак.

Конногвардейский священник, несмотря на этот компромис, упорствовал в своем отказе, но отец Никольский, законоучитель Пажескаго корпуса, снисходительно отнесся к положению своего бывшаго ученика.

Когда отец Никольский явился к митрополиту, он его к себе не допустил, а ограничился тем, что осенил его благословением на пороге, считая, вероятно, что он этим умаляет грех, в угоду Царя принимаемый им на душу.

Год с небольшим после женитьбы брата вышла замуж и старшая сестра Маша за его товарища по полку, Леонида Николаевича Гартунга, впоследствии так трагически покончившаго с собою в здании московскаго суда.

Это был благородный и честнейший человек, ставший жертвою новых веяний. Невинная кровь его обрызгала позорную, холодную жестокость тех, кто лицеприятно подтасовывали факты, чтобы, в партийной цели, посадить его на скамью подсудимых.

К счастью матери, она не дожила до этого кроваваго эпизода.

Здоровье ея медленно, но постоянно разрушалось. Она страдала мучительным кашлем, который утихал с наступлением лета, но с каждой весною возращался с удвоенным упорством, точно наверстывая невольную передышку.

Никакия лекарства не помогали, по целым ночам она не смыкала глаз, так как в лежачем положении приступы учащались, и она мне еще теперь мерещится, неподвижно прислоненная к высоким подушкам, обеими руками поддерживающая усталую, изможденную голову. Только к утру она забывалась коротким лихорадочным сном.

Последнюю проведенную в России зиму 1861 года она подчинилась приговору докторов, и с наступлением первых холодов заперлась в комнатах.

Но и этот тяжелый режим не улучшил положения.

К физическому недугу присоединилось моральное напряжение, с которым вся Россия ожидала день 19 февраля. Мать твердо уверовавшая в предвидение Пушкина, убеждена была, что не обойдется без революции и резни на улицах.

В томительной тревоге прошла предшествующая ночь и часы, сопровождавшие обнародование манифеста, и затем с недоумением пришлось сознаться, что это мировое событие ничем не нарушило покоя столицы и обыденнаго строя жизни.

На меня лично этот резкий перелом не произвел впечатления. Все злоупотребления и ужасы крепостного быта лишь отдаленным эхом достигали до детскаго слуха, и я только потом постигла их из книг.

Крестьяне отца все были на оброке, а из крепостных служащие в доме являлись основой патриархального быта, не словом, а делом вылившагося ходячим определением: «Вы наши отцы, а мы ваши дети». Не только не применялись какия-либо наказания, но я не могу припомнить, чтобы мать возвысила голос на кого-нибудь из слуг.

Лучшей илюстрацией справедливости моих утверждений может служить отношение к эмансипации нашей старой няни, от роду не разлучавшейся с матерью, которой и была дана в приданное.

Старших братьев и сестер занимало дразнить ее, приходя поочереди поздравлять с только что дарованной свободой.

— Отстаньте вы от меня! — ворчала она на них. — И кому только это на ум взбрело? Ну, что мне с вашей волей? Куда я с ней денусь, коли маменька меня в доме держать не захочет? И статочное ли это дело людей без всяких бар оставить? Вот лишний раз и вспомянешь батюшку Николая Павловича, Царство ему небесное! Остался он бы живым, никогда бы этого не допустил.

Продолжительное зимнее заточение до такой степени изнурило мать, что созванные на консилиум доктора признали необходимым отъезд за границу, предписывая сложное лечение на водах, а затем пребывание на всю зиму в теплом климате.

Отец не задумался подать просьбу об увольнении от командования первой гвардейской дивизией, передал управление делами своему брату и, получив одиннадцатимесячный отпуск, увез в конце мая всю семью за границу.

В Швальбах мать прибыла такою слабою, что она еле-еле могла дотащиться до источника. Она провела там несколько недель с нами тремя, так как отец воспользовался близостью Висбадена, чтобы брать ванны от ревматизма, а гувернантка уехала лечиться в Дрезден.

Не в правилах матери было доверять нас чужому надзору и в особенности меня, так как живость характера и пылкость воображения всегда служили опасением, чтобы я чем-нибудь не нарушила строгость приличия. Между нами было условлено, что в обществе, если она приметит, что я слишком чем или кем-нибудь увлекаюсь, она только наведет на меня лорнет и пристально взглянет.

Я же должна моментально задать себе вопрос: «Suis-je assez calme?[1]» — и держаться соответственно собственному сознанию.

Как часто в жизни приходилось моим близким приводить мне на память это молчаливое материнское предостережение! Она в Швальбах только и думала об нас, томясь мыслью, что здоровье мешает ей доставлять нам развлечение поездками и экскурсиями в горах, на которыя так падки все посещающие впервые заграничные курорты.

Воды не принесли ожидаемой пользы, и мы оттуда направились в Гейдельберг, на консультацию со знаменитым Хелиусом и на свидание с дядей Сергеем Николаевичем Гончаровым, временно там поселившемся с семьей.

Тут произошел эпизод, сам по себе пустяшный, но неизгладимо запечатлевшийся в моем уме, так как мое шестнадцатилетнее мышление сразу постигло вечно сочащуюся рану, нанесенную сердцу матери тем прошлым, о котором все близкие тщательно избегали ей напоминать.

Мы занимали в одной из больших гостиниц довольно оригинально расположенную квартиру. Спальни выходили в коридор и отделялись от отведенной нам гостиной с выходом на садик, раскинувшийся по пригорку, обширным залом, куда в назначенные часы собирались за table d'hôte.

Обедающих было немного.

Мы занимали один конец стола, а на противоположном собиралась группа из восьми до десяти человек русских студентов и студенток. Курсистки в ту пору не существовали.

[1] Достаточно ли я спокойна?

Мы изредка глядели на них, они с своей стороны наблюдали за нами, но знакомства не завязывали и, по усвоенной привычке, продолжали между собою говорить по-французски.

По окончании обеда все быстро убиралось, и оставлялся только стол под белой скатертью.

Когда я проходила однажды по опустелой и уже приведенной в порядок комнате, мне бросилась в глаза оставленная книга. Схватить ее и влететь в гостиную, где находились родители и сестры, было делом одной минуты.

— Посмотрите, — радостно воскликнула я, — русская книга, и разогнута как раз на статье о Пушкине.

«В этот приезд в Москву, — стала я горомко читать, — произошла роковая встреча с Натальей Николаевной Гончаровой, — той безсердечной женщиной, которая погубила всю его жизнь».

— Довольно, — строго перебил отец, — отнеси сейчас на место. Что за глупое любопытство совать нос в чужие книги!

Я тут только сообразила свою оплошность и виновато взглянула на мать.

Я до сих пор не забыла ея смертельную бледность, то выражение гнетущей скорби, которое лишь старые мастера способны были воплотить в лике Mater Dolorosa; она закрыла лицо руками и, пока я поспешно выходила, до моего слуха болезненным стоном долетело:

— Ou ne m’épargner donc jamais! et de vant mes enfants encor![1]

Напрасно страдала она мыслью уничижения перед нами, зная, что часто нет судей строже собственных детей. Ни одна мрачная тень не подкралась к ея светлому облику, и частыя, обидныя нападки вызывали в нас лишь остую негодующую боль, равную той, с которой видишь, как святотатственная рука дерзко посягает на высоко-чтимую, дорогую святыню.

Относя книгу на место, я не утерпела, чтобы не взглянуть на заглавие. Теперь оно изгладилось из моей памяти, но утвердить могу одно, что внизу было имя Герцена.

Не прошло и десяти минут, как один из соотечественников явился за ней и, признав неприкосновенность, должен был унести ее в полном

[1] Никогда меня не пощадят, и вдобавок перед детьми!

недоумении, удалась ли или нет придуманная выходка. Я же всю жизнь упрекала себя, что так легкомысленно сыграла ему в руку.

Не стану останавливаться на подробностях путешествия. Успешное лечение в Вилдбаде, осень в Женеве и первая зима в Ницце оказали на здоровье матери самое благоприятное влияние. Силы возстановились, кашель почти исчез, и если проявлялся при легкой простуде, то уже потерявши острую форму. Отец с спокойным сердцем мог вернуться на службу в Россию, оставив нас на лето в Венгрии, у тетушки Фризенгоф, так как, чтобы окончательно упрочить выздоровление, необходимо было еще другую зиму провести в тех же климатических условиях.

Но за период этой разлуки случилось обстоятельство, сведшее на нет с таким трудом достигнутый результат. Дурные отношения между моей сестрой и ея мужем достигли кульминационного пункта; они окончательно разошлись и, заручившись его согласием на развод, она с двумя старшими детьми приехала приютиться к матери.

Религиозныя понятия последней страдали от этого решения, но, считая себя виноватой перед дочерью, она не пыталась даже отговорить ее.

Летние месяцы прошли в постоянных передрягах и нескончаемых волнениях. Дубельт, подавший первый эту мысль жене, вскоре передумал, отказался от даннаго слова, сам приехал в Венгрию, сперва с повинной, а когда она оказалась безуспешной, то он дал полную волю своему необузданному, бешеному характеру.

Тяжело даже вспомнить о происшедших сценах, пока, по твердому настоянию барона Фризенгофа, он не уехал из его имения, предоставив жене временный покой.

Положение ея являлось безысходным, будущность безпросветная. Сестра не унывала; ея поддерживала необычайная твердость духа и сила воли, но за то мать мучилась за двоих.

Целыми часами бродила она по комнате, словно пытаясь заглушить гнетущее горе физической усталостью, и часто, когда взор ея останавливался на Таше, влажная пелена отуманивала его. Под напором неотвязчивых мыслей она снова стала таять как свеча, и отец вернувшийся к нам осенью, с понятной тревогой должен был признать происшедшую перемену. Забрав с собою сестру и ея детей, мы направились в Ниццу на прежнюю виллу, оставленную за нами с весны.

Не знаю, приезд ли отца, его беззаветная любовь, нежная забота, проявляющаяся на каждом шагу, или временное затишье, вступившее в бурную жизнь сестры, приободрили мать, повлияв на ея нервную систему, но зима прошла настолько благополучно, что в мае она категорически объявила, что пора вернуться домой.

Смутное время, переживаемое Россией в 1863 году, уже выразилось Польским возстанием, отец считал неблаговидным пользоваться долее отпусками, а опять разставаться с ним ей было не под силу. Наконец, мне только-что минуло восемнадцать лет, наступила пора меня вывозить в свет, и я всем существом стремилась к этой минуте, да и остальным это двухлетнее скитание прискучило; всех одинаково тянуло на родину.

Эти соображения одержали верх над голосом разсудка; доктора единодушно утверждали, что жизнь матери может продлиться только в благодатном климате, но она равно как и отец, склонны были считать эти заявления привычной уловкой местных эскулапов.

Однако доктор Швейцарец, пользовавший ее все время, привязавшийся к ней теплым чувством, бывшим уделом всех, близко ее знавших, перед самым отъездом с неподдельной грустью поведал нашей гувернантке:

— Jai fait tout mon possible pour empêcher cette fatale imprudence... Sonvenez-vous de mes paroles. L'organisme de madame est usé à un tel point gue le plus léger froid l'enlevera comme une feuille d'antomne![1]

Не прошло и полгода, как исполнилось это зловещее предсказание, и с каким сокрушенным сердцем отец и все мы, осиротелая семья, проклинали ослепивший нас тогда оптимизм!

В течение ницскаго карнавала легендарная красота матери вспыхнула последним бывалым блеском.

Я в ту зиму стала немного появляться в свете, но вывозил меня отец, так как никакое утомление не проходило безнаказанно у матери. Тогдашний префект Savigni придумал задать большой костюмированный бал, который заинтересовал все съехавшееся муждународное общество. Мать уступила моим просьбам и не только принялась спешно вышивать

---

[1] Я сделал все возможное, чтобы воспрепятствовать этой роковой неосторожности. Запомните мои слова. Ея организм разстроен до такой степени, что самая легкая простуда унесет ее, как осенний лист.

выбранный мне наряд, но, так как это должно было быть моим первым официальным выездом, захотела сама меня сопровождать.

Когда в назначенный час мы, одетыя, собирались уезжать, все домашния невольно ахнули, глядя на мать. Во время перваго года нашего пребывания за границей скончался в Москве дед Николай Афанасьевич; она по окончании траура сохранила привычку ходить в черном, давно отбросив всякия претензии на молодость.

Скромность ея туалетов как-то стушевывала все признаки красоты. Но в этот вечер серо-серебристое атласное платье не скрывало чудный контур ея изваянных плеч, подчеркивая редкую стройность и гибкость стана. На гладко причесанных, с кой-где пробивающейся проседью, волосах, лежала плоская гирлянда из разноцветно-темноватых листьев, придававшая ей поразительное сходство с античной камеей, на алой бархотке вокруг шеи сверкал брилиантами царский подарок и, словно окутанная прозрачной дымкой, вся фигура выступала из-под белаго кружевного домино, небрежно накинутаго на голову.

Ей тогда было ровно пятьдесят лет, но ни один опытный глаз не рискнул бы дать и сорока.

Чувство восхищения, вызванное дома, куда побледнело перед впечатлением, произведенным ею на бале.

Современные репортеры не преминули бы описать это entrée à sensation!

Я шла за нею по ярко освещенной анфиладе комнат и до моего тонкаго слуха долетали обрывками восторженныя оценки: «Voyez donc, c'est du classigue tout pur! On n'est plus belle comme cela! Parlez moi des beautés slàves! Ce n'est p'us une femme, c'est un rêve!»[1] а те, которые ее хоть по виду знали, ежедневно встречая медленно гуляющей «на променаде» в неизменном черном одеянии, с шляпой, надвинутой от солнечных лучей, недоумевая шептали;

«Это просто откровение! За флагом молодыя красавицы! Воскресла прежняя слава! Второй не скоро отыщешь!»

---

[1] Поглядите! Это самая настоящая классическая голова! Таких прекрасных женщин уже не бывает! Вот она, славянская красота! Это не женщина, а мечта!

Я видела, как мать словно ежилась под перекрестным огнем восторженных взглядов; я знала, как в эту минуту ее тянуло в обыденную, скромную скорлупу, и была уверена, что она с искренней радостью предоставила бы мне эту обильную дань похвал, тем охотнее, что, унаследовав тип Ланских, я не была красива и разве могла похвастаться только двумя чудными густыми косами, ниспадавшими ниже колен, ради которых и был избран мой малороссийский костюм.

Мать и тут сумела подыскать себе укромный уголок, из котораго она с неразлучным лорнетом зорко следила за моим жизнерадостным весельем и, садясь в карету, с отличавшей ея скромностью, заметила, улыбнувшись:

— Ce que c'est pourtant gue la toilette! On est même parvenu à me trouver bien ce soir!

— Comment bien, maman, — негодующим протестом вырвалось у меня. — C'est belle, c'est su perbe gu'ill faut dire. Vous êtiez la plus poétigue des visions![1]

И должно быть мой юношеский восторг метко схватил определение, так как именно такой полвека спустя стоит она еще перед моими глазами.

IX

Теперь приходится мне приступить к описанию моего перваго тяжелаго горя.

В радостныя грезы беззаботной молодости впервые ворвалась леденящая струя суровой неотвратимости, оставив по себе неизгладимый след.

По возвращении из-за границы, мы провели лето в подмосковной деревне брата Александра, но мать часто нас оставляла, наведывая отца, который по обязанности проживал в Елагинском дворце.

Из-за смут и частых поджогов, разоряющих столицу, он был назначен временным генерал-губернатором заречной части ея.

[1] — Однако же, что значит туалет! Довел до того, что даже и я показалась недурной сегодня вечером.— Как недурной! Красавицей, величаво-прекрасной, следует сказать. Вы были самым поэтическим видением!

Несмотря на краткость этих путешествий, они тем не менее утомляли мать, и как только она покончила устройство новой зимней квартиры, в первых числах сентября, она выписала нас домой.

Осень выдалась чудная; помня докторския предписания, мать относилась бережно к своему здоровью, и все шло благополучно до ноября.

Тут родился у брата третий ребенок, но первый, желанный, сын, названный Александром, в честь деда и отца. Я уже упоминала о нежных, теплых отношениях, соединяющих ее с ним.

Переселившись в Москву, он, понятно, сильно желал, чтобы она приехала крестить внука и этого сознания было достаточно, чтобы все остальныя соображения разлетелись в прах.

Тщетно упрашивал ее отец, под гнетом смутнаго предчувствия, чтобы она ограничилась заочной ролью, — она настояла на своем намерении.

Накануне ея возвращения, в праздничной суматохе, позабыли истопить ея комнату, и этого было достаточно, чтобы она схватила насморк.

Путешествие довершило простуду.

Сутки она боролась еще с недугом: выехала со мною и сестрою по двум-трем официальным визитам, но по возвращении домой, когда она переодевалась, ее внезапно схватил сильнейший озноб. Ее так трясло, что зуб-на-зуб не попадал.

Обезсиленная, она легла в постель. Призванный домашний доктор сосредоточенно покачал головою и отложил до следующего дня диагноз болезни.

Всю ночь она прометалась в жару, по временам вырывался невольный стон от острой боли при каждом дыхании. Сомнения более не могло быть. Она схватила бурное воспаление легких.

Несмотря на обычное самообладание, отец весь как-то содрогнулся; ужас надвигавшегося удара защемил его сердце, но минутная слабость исчезла под напором твердой воли скрыть от больной охватившую тревогу.

Мы же, частью по неопытности, частью по привычке часто видеть мать болящей, были далеки от предположения смертельной опасности.

Первые шесть дней она страдала безпрерывно, при полной ясности сознания.

Созванные доктора признали положение очень трудным, но не теряли еще надежду на благополучное разрешение воспалительнаго процесса.

— Надо ждать отхаркивания, — что-то оно скажет, решили они. Как сегодня помню его появление. С какими страшными усилиями отделялась мокрота, окрашенная кровью! Как мы глазами впивались в этот благоприятный симптом! Какая безумная радость залила сердце, вызывая слезы умиления, при охватившем сознании: мама спасена!

Утомленные продолжительным бдением и постоянным уходом, мы впервые за время болезни уснули крепким, счастливым сном.

На утро надежды разсеялись. Громовым ударом поразил нас приговор, что не только дни, но, вероятно, и часы ея сочтены.

Телеграмами тотчас выписали Сашу из Москвы, Гришу из Михайловскаго, Машу из тульскаго имения.

Воспаление огненной лавой охватило все изможденное тело, — оно перешло на кишки и на все внутренности. Старик доктор Карелль, всю жизнь пользовавший мать, утверждал, что за всю свою практику он не встречал такого сложнаго случая.

Физическия муки не поддаются описанию. Она знала, что умирает и смерть не страшила ея. С спокойной совестью она готова была предстать пред Высшим Судьей. Но, превозмогая страдания, преисполненное любовью материнское сердце терзалось страхом перед тем, что готовит грядущее покидаемым ею детям.

Образ далекой Таши, без всяких средств, с тремя крошками на руках, грустным видением склонялся над ея смертным одром. Гриша смущал ее давно продолжительной связью с одной Француженкой, в которой она предусматривала угрозу его будущности; нас трое, так нуждающихся в любви и руководстве на первых шагах жизни, а мне, самой старшей, только-что минуло восемнадцать лет!

В этой последней борьбе духа с плотью нас всех поражало, что она об отце заботилась меньше, чем о других близких, а как она его любила, какой благодарной нежностью прозвучало ея последнее прости!

— Merci, mon Pierre, tu es le seul être au monde gui m'a donné le bonheur sans mélang! Au bientôt! je sais gue sans moi tu ne pourras pas vivre.[1]

И это блаженное сознание, эта вера в несокрушимость любви, даже за гробовым пределом, столь редко выпадавшия на женскую долю в супружестве, способны были изгладить в эту минуту все, выстраданное ею в жизни.

Этим убеждением руководилась она, благословляя и наставляя каждую из нас, как уже обреченных на полное сиротство, и, взяв слово с старшаго брата, — что, в случае второго несчастья, он возьмет нас к себе и вместе с женою заменит нам обоих отшедших.

Предчувствие ея не сбылось. Отец пережил ее на целых четырнадцать лет, но она ясно провидела глубокую, неизлечимую скорбь, ставшую его неразлучной спутницей до последняго дня его жизни. Сколько тихих слез воспоминания оросили за эти долгие годы ея дорогую могилу в Александро-Невской лавре, посещение которой стало его насущной потребностью![2]

Как часто, прощаясь со мной, отходя ко сну, он говаривал с облегченным вздохом:

«Одним днем еще ближе к моей драгоценной Наташе!»

Да, такую любовь способна внушить не красота плоти, чары которой гибнут во мраке и ужасах могилы, а та возвышенная чистота и благородство души, которая, как отблеск вечнаго, манит за собой в лучший, горний мир.

Христианкой прожив, такой она и скончалась. Самыя мучительныя страдания не вырвали слова ропота из ея уст. По временам она просила меня читать ей вслух Евангелие. Собрав последния силы, она прощалась со всеми служащими и каждаго поблагодарила.

Без глухих, сдержанных рыданий никто не вышел из ея комнаты.

С трепетным ожиданием считала она часы до приезда Маши, которая поспела только накануне смерти. К ней обратилась она с трогательною

---

[1] Ты единственный в мире, давший мне счастье без всякой примеси! До скораго свидания! Я знаю, что без меня ты не проживешь.

[2] П. П. Ланской скончался 6 мая 1877 года. Он был похоронен в Петербурге, на кладбище Александро-Невской лавры там же, где и Н. Н. Пушкина-Ланская. /*Прим. сост.*/.

мольбою относительно столько нашумевших писем ея отца. Как старшей, она неоднократно говорила, что дарит их ей, а теперь просила разрешения отдать их Таше, в виду ея материальной нужды, тогда как она в это время казалась вполне обезпеченной.

Сестра, конечно, ни минуты не задумалась дать свое согласие, и возможность этой хоть малой, загробной помощи послужила утешением ея недремлющей заботы.

Мы все шестеро, кроме Таши, пребывавшей тогда за границей, рыдая, толпились вокруг нея, когда по самой выраженному желанию, она приобщилась Св. Тайне.

Это было рано утром 26 ноября 1863 г. Вслед затем началась тяжелая, душу раздирающая агония.

Но на все вопросы до последней минуты, она отвечала вполне ясно и сознательно. В предсмертной судороге она откинулась на левую сторону. Хрип становился все тише и тише. Когда часы пробили половину десятого вечера, освобожденная душа над молитвенно склоненными главами детей отлетела в вечность!

Несколько часов спустя мощная рука смерти изгладила все следы тяжких страданий.

Отпечаток величественнаго, неземного покоя сошел на застывшее, но все еще прекрасное чело.

Для верующей души так очевидно было, что там, у подножия Еседающаго Христа, в вечном блаженстве, она обрела награду за суровый приговор людской несправедливости!

Ради Пушкина



Перед читателем лежит книга, которая не может не вызвать его живой интерес. Ибо она о Пушкине, о Наталье Николаевне Гончаровой. Ибо она об эпохе, которая чем более удаляется, тем делается ближе, обнаруживая в нас родственные токи с нашими предшественниками и соотечественниками. Они неодолимо влекут к себе, втягивают в высшую ауру, противостоят суете повседневности, будто вопрошают: Кто Вы? Что с Вами происходит? Помните ли, что и Вы перейдете последний предел и предстанете перед нашим взором?

Впервые рукопись А. Араповой «Наталья Николаевна Пушкина-Ланская» с подзаголовком «К семейной хронике жены А. С. Пушкина» была опубликована на страницах иллюстрированного приложения к газете «Новое время», которое выпускал Алексей Сергеевич Суворин, в декабре 1907 — январе 1908 года. Известный книгоиздатель, беллетрист, драматург, сотрудничавший с А. Чеховым, Суворин благожелательно отнесся к за-

пискам Александры Петровны Араповой о ее матери Наталье Николаевне Пушкиной, во втором замужестве Ланской. Он сопроводил мемуары семейными портретами, однако не снабдил предисловием, не дал какие-либо комментарии. Вероятно, он полагал, что страницы, написанные эмоционально и увлеченно, по стилю близкие к художественной повести, говорят сами за себя. Остается лишь сожалеть, что Суворин этого не сделал. Обстоятельное пояснение позиций автора, передавшей в «Новое время» своей труд и к тому же сохранившей эпистолярный архив Натальи Николаевны Пушкиной, помогло бы снять эффект, который произвела эта публикация.

Многие лета, стертые от неоднократного к ним обращения, плохо разбираемые даже с лупой листы из подшивки в газетном зале Ленинской библиотеки рвались не только физически, но и нравственно. Да и как могли быть иначе восприняты во времена воинствующего атеизма, когда в литературоведении господствовали социальные догмы, воспоминания верующей женщины, к тому же крестницы Николая I?

Чего только не приписывалось старшей дочери Натальи Николаевны от брака с командиром лейб-гвардии конного полка, генерал-лейтенантом Петром Петровичем Ланским! Откройте книгу В. Вересаева «Спутники Пушкина» и обнаружите там неприятие семейной хроники Араповой, сообщениям которой якобы нельзя верить. Потому что Александра Петровна со страстной привязанностью пишет о матери, любуется каждым ее движением, взглядом, а Вересаеву понадобилось в своем сочинении тенденциозно осудить Наталью Николаевну, представить жену поэта женщиной, созданной исключительно для светских забав, увеселений и празднеств.

Были пушкинисты, которые более объективно отнеслись к мемуарам Араповой, на них ссылается Л. Черейский в справочном издании «Пушкин и его окружение», они являются документальным источником для двухтомника «Друзья Пушкина», который составил В. Кунин, для книги М. Беляева «Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников».

В восьмидесятые годы вышли книги И. Ободовской, М. Дементьева «После смерти Пушкина», «Наталья Николаевна Пушкина», где также приводятся сведения из семейной хроники, напечатанной в «Новом времени». Кроме того, эти авторы изучили и частично опубликовали до-

машний архив Араповой, который Александра Петровна передала в 1918 году в дар Пушкинскому дому. В нем содержатся материалы, которые полностью опровергают долгие годы бытовавшие представления о вдове поэта, что к семейной жизни она была равнодушна, что более всего ее радовали, по слову того же Вересаева, утехи «удовлетворенного тщеславия». Арапова сохранила письма Натальи Николаевны к ее второму мужу Петру Петровичу Ланскому, письма Натальи Николаевны к ее друзьям — Наталье и Густаву Фризенгофам, письма к ней поэта Петра Андреевича Вяземского, письма Екатерины Ивановны Загряжской, которая помогала своей любимой племяннице.

По шутливому признанию Натальи Николаевны, «марать бумагу одна из моих непризнанных страстей». Ее письма-дневники искренни, откровенны, полны подробностей быта Гончаровых и Пушкиных. Мы ощущаем, как развито в ней чувство долга и ответственности за детей, сестру, братьев, она и верная супруга, и добродетельная мать. Приведем одно из писем, где гармоничным предстает внутренний мир первой красавицы России: «Иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве. Эти минуты сосредоточенности перед иконой, в самом уединенном уголке дома, приносят мне облегчение. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность и меня в ней упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца».1)

В книге «После смерти Пушкина» И. Ободовской, М. Дементьева приведены биографические сведения об Араповой. Александра Петровна Ланская родилась в 1845 году, умерла в 1919 году. В 1866 году вышла замуж за офицера, затем генерала И. А. Арапова. Она несомненно обладала литературными задатками и написала несколько повестей и рассказов. Там же помещен карандашный портрет маленькой Ази, как ее звали в семье. Перед нами круглолицая девочка с кудрявыми волосами и упрямым выражением глаз. Наталья Николаевна писала Ланскому о ней: «Это мой поздний ребенок, я это чувствую, и при всем том — мой тиран». Своенравная и непослушная Азя доставляла родным большое волнение. Однажды она повздорила с няней, Наталья Николаевна застала старушку в слезах и решила наказать девочку, не взяла ее на прогулку. Тогда Азя

помчалась наверх, подбежала к окну, схватилась за раму... Случайно в комнату вошла горничная и с ужасом увидела девочку, которая висела, едва держась за подоконник. Азя громко кричала: «Не троньте, брошусь, брошусь, как смели меня наказывать, я им покажу!» Ее едва схватили и втащили вовнутрь. На следующий день Наталья Николаевна, напуганная случившимся, продолжила урок поведения и объявила провинившейся Азе, что не поведет ее в церковь на воскресную службу. Тогда дочка лукаво улыбнулась: «Но мне же надо раскаяться в грехах!» Мать растрогалась и уступила.

В своей хронике Арапова также рассказывает, что росла чрезвычайно подвижным и непосредственным ребенком. Остановить ее шумный нрав помогал порой внушенный матерью вопрос: «Достаточно ли я спокойна?», который девочка должна была задавать себе, когда выходила в общество. Если спрашивали, в кого Азя такая пошла, Наталья Николаевна отвечала, что в нее, да только жизнь переломила ее жизнерадостную натуру и редко кто видел ее улыбку.

Крутость и упорство и позднее проявились в характере Александры Петровны. Они способствовали тому, что появились ее мемуары, где она отстаивает светлый образ матери перед обвинителями из окололитературной среды. Это звучит уже в первых строках ее рукописи: «Так часто в газетных статьях, литературных изысканиях появлялись не только несправедливые, но зачастую и оскорбительные отзывы о моей матери, что в сердце моем давно зрела мысль высказать всю правду о ея так трагически сложившейся жизни».

Давно назрела необходимость переиздать малодоступный для широкого читателя и вызывавший среди пушкинистов различные мнения текст, дабы семейная хроника «Наталья Николаевна Пушкина-Ланская» предстала бы не в фрагментах, а в своем целостном виде, как предстает в экспозиции вынутая из запасников старинная картина, пусть, на чей-то взгляд, созданная не по правилам, однако доносящая дыхание и мироощущение своего столетия.

Хочу отметить одну особенность воспоминаний Араповой, на нее обязательно обратит внимание читатель. Они обладают своеобразным подтекстом, который возбуждает исторические ассоциации, желание извлечь

из глубины памяти другие сведения о дворянской среде первой половины 19 века.

Отсчет повествования Араповой ведется с дня рождения ее матери. Как не поразиться стечению обстоятельств, которые объяснят лишь астрологи. Наталья Николаевна родилась в тот день, когда под Бородино решалась судьба Отечества. Война 1812 года не обошла стороной родовое имение ее деда и отца Гончаровых. В их доме на Полотняном Заводе близ Калуги останавливался Михаил Илларионович Кутузов. Комнаты, в которых жил главнокомандующий русской армии, называли потом «кутузовскими».

В августе 1812 года Кутузов проезжал через Царское Село, среди приветствовавших его горожан и крестьян были воспитанники Лицея. Охваченный патриотическим порывом Александр Пушкин писал в «Воспоминаниях в Царском Селе» о незабвенных днях:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря.

Дрогнуло ли сердце курчавого смуглого подростка в миг, когда появилась на свет его суженая? Очевидно, благовест был: его первую любовь — крепостную актрису домашнего театра графа Толстого в Царском Селе звали Натальей:

Так, Наталья! признаюся,
Я тобою полонен,
В первый раз еще, стыжуся,
В женски прелести влюблен.

Ранняя влюбленность, как ей и положено, канула безвозвратно, а имя запало в душу и забилось горячей жилкой через много лет при взгляде на зеленоглазую и смущающуюся девушку:

Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце – Купидон!

Натали, Наташа, Таша стала его «милым ангелом», его «женкой».

Первую дату жизни Натальи Николаевны Гончаровой 27 августа 1812 года определила любовь родителей и расположение светил к ее роду. Предок Натальи Николаевны по отцу Афанасий Абрамович Гончаров являлся сподвижником Петра I, он способствовал расцвету русского флота. На его фабрике ткалось полотно для парусов, которое ценилось не только в России, но и у английских моряков. Кроме того, Гончаров наладил производство бумаги, считавшейся самой качественной. Гончаровы ценили книгу, в имении на Полотняном Заводе была обширная библиотека, которая пополнялась новыми изданиями и нотами. Этим собранием пользовался Александр Сергеевич Пушкин. И у Загряжских, родственников по линии матери Натальи Николаевны в имении Ярополец было солидное книжное собрание. Пушкин, приехав навестить тещу Наталью Ивановну Гончарову, нашел в доме старую библиотеку, о чем сообщил жене: «Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с варением и наливками». Александр Сергеевич обнаружил книги, которых не было у него самого, и удовлетворенно заключил: «Таким образом набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен».2)

Сестры Гончаровы, Наталья, Александра и Екатерина, получили хорошее домашнее образование, в совершенстве знали французский язык, историю, русскую литературу. Сохранилась детская тетрадь Натальи Николаевны с ее стихами. Позднее она тоже пыталась сочинять стихи, посылала их в письме к Пушкину, муж отнесся к ее поэтическим опытам скептически, а ее письма в прозе Александр Сергеевич ждал с нетерпением и целовал листочки с тонким, переходящим в изящные завитки почерком.

О литературной одаренности Натальи Николаевны свидетельствуют ее сохранившиеся поздние письма, почти как тургеневское стихотворение в прозе читается ее письмо, посланное из немецкого курортного города Годесберга в июле 1851 года: «Ну вот я и в Годесберге. Что я могу сказать? Городок очарователен и всякой другой здесь понравилось бы, но я как

неприкаянная душа покидаю с радостью одно место, в надежде, что мне будет лучше в другом, но как только туда приезжаю, начинаю считать минуты, когда смогу его оставить. В глубине души такая печаль, что я не могу ее приписать ничему другому, как настоящей тоске по родине... Здесь великолепный воздух, но все же я жажду покинуть эти места. Лучший воздух для меня это воздух родины...» 3)

Как вся дворянская молодежь первой четверти 19 века, Наталья, Александра и Екатерина Гончаровы зачитывались Пушкиным. Сохранился альбом, который вела в девичестве Екатерина Гончарова. Она переписала в него «Домик в Коломне» и «Желание славы». Это стихотворение было написано в 1825 году, когда ее сестре Наташе было всего тринадцать лет и посвящалось отнюдь не ей. Но чудится, поэт предугадал в нем восторженную любовь к Наталье Гончаровой и «грозный день разлуки»:

Слезы, муки,
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося!

Предчувствовала ли Екатерина Гончарова, переписывая пушкинское смятение, что оно коснется и ее? Волею обстоятельств, она, став женою его врага и убийцы Дантеса, навсегда покинет родину, мать, братьев, сестру Ташу. Никто из них не бросит горсть земли на ее могилу. Вослед пойдут строки письма ее больного отца Николая Афанасьевича Гончарова: «Гнев божий на наш род. Со всех сторон летят бедствия и напасть на нашу семью. Горя — моря!» Если бы человек мог разорвать нить судьбы, запутывающей его путь в неразрешимый клубок! Если бы знать... Нет, никому не дано знать своего будущего, оттого человек бывает так растерян перед ним.

Как хочется, чтобы к старой истории не подходили со скальпелем хирурга, а дотрагивались перстом реставратора, удерживающим непрочную бесценную краску. Дабы никто больше не верил недавно переизданной фальшивой книге Вересаева «Спутники Пушкина», где утверждается, что Наталья Николаевна Гончарова вообще всю жизнь была к поэзии со-

вершенно равнодушна: «И какое могло быть духовное общение между Пушкиным и малообразованной шестнадцатилетней девочкой, обученной только танцам и умению болтать по-французски?» 4)

Перелистаем опять страницы хроники Араповой. Вот портрет Натальи Николаевны, когда в 1828 году ее впервые встретил в Москве Пушкин. Это описание известно, оно традиционно приводится в книгах о поэте. Будто в дорогой раме предстает высокая тоненькая девушка в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой.

Александра Петровна раскрывает семейное предание о женщине, передавшей свои неземные черты музе поэта. То была Ульрика Поссе, вторая жена при живой жене деда Натальи Николаевны Ивана Александровича Загряжского. Блестящий офицер влюбился в дочь барона Липгардта в Дерпте, нынешнем эстонском Тарту, где находился по делам службы. Он увез ее из родительского дома и тайно обвенчался. Затем последовал неожиданный пассаж: Загряжский, не скрывась, привез новую любовь к законной супруге в Ярополец, а сам отбыл в Москву. Ну чем ни сюжет для авантюрного романа? Ульрика Поссе рано угасла, оставив крошечную дочь Наталью. Никто не знает, где она похоронена. Говорят, и Иосифо-Волоколамском монастыре, неподалеку от Яропольца. Возможно, поэтому часто приезжала сюда на моления грустившая о матери Наталья Ивановна Загряжская, в замужестве Гончарова.

В этом невольно уверяешься, когда приезжаешь к белоснежным монастырским стенам, любуешься башенками, напоминающими нарядной кладкой русские терема. Подходишь к прозрачным и глубоким озерам и, кажется, венчики пышных камышей колышутся на ветру, будто распустившиеся пушистые волосы Ульрики. В их шелесте слышится ее голос, негромкий, доверчивый и печальный...

Лишь ее внучка Наталья Николаевна Гончарова унаследовала ее стать, и больше никто в роду. Как никому не передался поэтический гений Пушкина. Природа не терпит повторов, она является однажды и навсегда.

В своей приезд в Иосифо-Волоколамский монастырь я долго стояла у входа в собор, где была когда-то могила Натальи Ивановны Гончаровой. Нет на том месте ни креста, ни надписи. Ее надгробие было разорено

в наши дни, когда безжалостно крушились святые места, покрывались пылью, зарастали бурьяном кладбища. Поднявшие руку на прошлое превращались в духов зла без нравственных корней и начал:

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...

Сгинет ли наваждение? Восстановим ли мы утраты? Без того не установиться покою и ладу внутри себя.

Возвращаясь от монастырских строений к автобусу по дороге через село с многозначащим названием Теряево, я думала и о том, как нелегко входил в гончаровскую семью Александр Сергеевич.

Арапова помечает в мемуарах, что ей мало известно о помолвке поэта и Натальи Николаевны. Очевидно, мать из-за присущей ей сдержанности не поведала дочери, как трудно ей было уговорить родителей, особенно своенравную, привыкшую держать власть над всем семейством Наталью Ивановну на ее брак с любимым человеком. «Наша свадьба точно бежит от меня», — писал в отчаянии своей невесте из Болдино Александр Сергеевич. Казалось, бесконечно будет длиться нерешаемый вопрос о приданом, которое обедневшие Гончаровы не могли дать дочери, а выдавать ее бесприданницей было для них, говоря современным языком, непрестижно. Проявились еще преграды, которые Наталье Николаевне предстояло преодолеть. О том было ее письмо к деду Афанасию Николаевичу Гончарову, посланное на Полотняный Завод 5 мая 1830 года.

«Любезный дедушка!»

Узнав... сомнения ваши, спешу опровергнуть оные и уверить вас, что все то, что сделала маменька, было согласно с моими чувствами и желаниями. Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают, и умоляю вас по любви вашей ко мне не верить оным, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета. В надежде, любезный дедушка, что все ваши сомнения исчезнут при получении сего письма и что вы согласитесь составить мое счастие, целую ручки ваши и остаюсь навсегда покорная внучка ваша.

«Наталья Гончарова». 5)

Так вот с какого времени берет начало интрига, неотступно следовавшая за супругами Пушкиными те годы, что они провели вместе. В семнадцать лет Наталья Николаевна обладала зорким сердцем, стремлением защитить своего избранника. И потому Пушкин был уверен в своем выборе: «Заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не женюсь». 6)

В феврале 1831 года в Москве в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот состоялось венчание Пушкина и Гончаровой. Приходя сюда, я ставлю тоненькую, с дрожащим огнем свечу перед иконой Богоматери и загадываю желание. Вдруг оно исполнится и я разгляжу через минувший век:

Девочка в фате. Глаза опущены.
Боже! До чего же молода!
— Вы согласны быть женою Пушкина?
И в ответ чуть слышимое: «Да...»

Во время обряда при обмене колец жениха и невесты кольцо Пушкина упало на пол. Внезапно порыв воздуха задул свечку, которую Пушкин держал в руке. Это были тревожные предзнаменования, но Александр Сергеевич отбросил их в тот миг, когда новобрачные вышли из церкви и отправились на свадебную квартиру в дом на Арбате.

Теперь в этом голубом с белыми пилястрами классическом особняке музей. Под его сводами мы слышим торжественную музыку и размеренный голос чтеца. Поднявшись на второй этаж, посетители останавливаются у порога комнат, которые в канун свадьбы обставлял сам Пушкин. Более всего его гостей поразила тогда обстановка уютной гостиной, оклеенной обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками, дальше в анфиладе находились кабинет поэта, спальня, будуар.

В медовый месяц молодожены перенеслись на небеса. Они устроили ужин и радушно угощали гостей, были на бале, на маскараде в Большом театре, участвовали в санном катании.

Московская идиллия длилась, к сожалению, недолго. Пушкина раздражало вмешательство Натальи Ивановны Гончаровой, он сетовал в письме к Плетневу, что в Москве живет не так как хочется, а как «тетки хотят». О переезде Пушкиных в Царское Село Александр Сергеевич со-

общил теще: «Я был вынужден уехать из Москвы во избежание неприятностей, которые под конец могли лишить меня не только покоя; меня расписывали моей жене как человека гнусного, алчного, как презренного ростовщика, ей говорили: ты глупа, позволяя мужу и т. д. Согласитесь, что это значило проповедовать развод. Жена не может, сохраняя приличие, говорить себе, что муж ее бесчестный человек, а обязанность моей жены — подчиняться тому, что я себе позволю. Не восемнадцатилетней женщине управлять мужчиной, которому 32 года. Я проявил большое терпение и мягкость, но, по-видимому, и то и другое было напрасно. Я ценю свой покой и сумею его себе обеспечить». 7)

Резкое послание невольно приходит на ум, когда читаешь главу хроники Араповой о семейных взаимоотношениях Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Арапова передает то, что слышала от Гончаровых, от дальних родственников и знакомых, от старой няни, которая лелеяла Ташу с младенчества и растила ее детей. Из-за патриархальных привычек нянюшка хотела бы другого жениха для своей красавицы-воспитанницы, не смуглого арапа, а косая сажень в плечах Бову-королевича. Может, оттого на первый план повествования вышел мотив безудержной африканской ревности, которая полностью овладела характером поэта. К тому же домашние не могли понять и принять его кочевую жизнь, его отлучки для работы в Болдино и Михайловское, его вечерние визиты к друзьям-литераторам, когда жена оставалась дома одна.

При всей моей увлеченности мемуарами Араповой, я осознаю, что подобный взгляд является в известной мере субъективным. Существует множественность фактов, которые его рамки значительно раздвигают.

Прежде всего они проявились в творчестве поэта. О том, что Пушкин был счастлив в любви, свидетельствует испытанный им прилив сил, подаривший мировой литературе драматические шедевры болдинской осени, поэму «Медный всадник», мудрую прозу. И бесценную жемчужину — сонет «Мадонна».

В витрине антикварного магазина Александр Сергеевич увидел копию «Бриджуотерской мадонны» Рафаэля. С тех пор нежный образ не покидал его. Свершилось чудо: в лице Натальи Николаевны поэт узрел бессмертные черты. Он писал любимой: «Часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды». 8) По давней привычке заносить в черновики рукописей рядом с рождающимися строфами зримые

черты тех, кто его вдохновлял, Пушкин один за другим прочерчивал профили возлюбленной. Казалось, его перо наследовало штрихи Рафаэля, легкие, воздушные, в их недорисованности и отточенности — познание вселенской истины, то уходящей прочь, то приближающейся вплотную к сознанию человека.

И возникло стихотворение, по озарению равное творению художника эпохи Возрождения:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —

Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Если бы биографы, отмечая вехи художника, исходили не из житейских перипетий, а из посылов, увековечивших его имя на древе земной цивилизации! Личность Пушкина была дарована печатью исключительности, его психологический склад был импульсивным, непознаваемым для обыкновенного человека. То, что для нас — норма, для него являлось ненормой. Вольный, мятущийся Мастер, паривший над действительностью, опровергал традиционные представления о главе семьи.

В век-«торгаш», когда «без денег и свободы нет», а слава была яркой заплатой на «ветхом рубище певца», Пушкин, чтобы прокормить растущую семью, был вынужден продавать рукописи циничным книгопродавцам. Однако внутри себя он не шел на компромиссы и оставался самим собой.

Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизьяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья.
Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.

Высокие порывы посещали Пушкина и в его письмах к Мадонне: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, – а душу твою люблю я еще более твоего лица...» 9) «Будь молода, потому что ты молода – и царствуй, потому что ты прекрасна...» «Цалую – благодаря тебя за то, что ты богу молишься на коленах посреди комнаты. Я мало богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас...» «Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены...»

Жена была для Пушкина достойным собеседником, он дорожил ее мнением и посвящал в свои замыслы: «Ты спрашиваешь меня о Петре? идет помаленьку; скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник, который нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок...» «После завтрого начну печатать Пугачева, который до сих пор лежит у Сперанского...» «Я работаю до низложения риз. Держу корректуру двух томов... В корректуре я прочел, что Пугачев поручил Хлопуше грабеж заводов. Поручаю тебе грабеж Заводов — слышишь ли, моя Хло-Пушкина? ограбь Заводы и возвратись с добычею».

В письме о подготовке к печати «Истории Пугачевского бунта» Александр Сергеевич предлагал Наталье Николаевне действовать тактикой атамана, чтобы ускорить присылку денег с Полотняного Завода, которые постоянно задерживал ее брат Дмитрий Николаевич Гончаров. К нему же она обращалась, когда понадобилась бумага для выпуска журнала «Современник».

Несмотря на то, что письма Пушкина просматривались цензурой, он не выдерживал молчания и подвергал критике официальный Петербург. Неоднозначным было его отношение к русским монархам, к Павлу I, к Александру I, к Николаю I и к наследнику престола Александру Николаевичу: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет».

Такие острые, даже опасные письма Александр Сергеевич посылал женщине, которой доверял: «Ты баба умная и добрая».

Письма Натальи Николаевны к мужу потеряны. Когда же углубляешься в чтение писем Пушкина, замечаешь, что в них, как в зеркале, отразились пропавшие весточки его супруги. Он ведет с женой постоянный диалог: «Передпоследнее письмо твое было такое милое, что расцаловал бы тебя; а это такое безалаберное, что за ухо бы выдрал...» Или: «Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не

думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив...»

Пушкин беспокоился о здоровье Натальи Николаевны, она сообщала, что с ней происходит. Муж, как опытный доктор, вникал в тонкости ее организма и прописывал «женке» строгие рецепты: «Побереги себя, особенно сначала; не люблю я святой недели в Москве; не слушайся сестер, не таскайся по гуляниям с утра до ночи, не пляши на бале до заутренни. Гуляй умеренно, ложись рано...» «Письмо твое мне из головы нейдет. Ты, мне кажется, слишком устала... Вот что меня тревожит, мой ангел. Так что голова кругом идет и что ничто другое в ум не лезет».

В центре переписки супругов были их дети. Сыновья и дочери, продолжавшие идущий от Рюрика род Пушкина, наполняли его отцовской гордостью, Александр Сергеевич заботился о каждом их шаге, переживал любую болячку: «Цалую Машку, Сашку и тебя; благословляю тебя, Сашку и Машку; цалую Машку и так далее, до семи раз...» «Говорит ли Маша? ходит ли? что зубки? Саше подсвистываю...» «Цалую Машу и заочно смеюсь ее затеям. Она умная девчонка, но я от нее покамест ума не требую; а требую здоровья».

Пушкин горячо любил всех четверых детей, однако, судя по письмам, Машу особенно выделял. Как через годы приметил ее своеобразие Лев Толстой и ввел в сюжет романа «Анна Каренина». Во внешности героини Толстого – дивный овал лица Натальи Николаевны, магический блеск ее глаз и блестящие темные завитки волос Александра Сергеевича, имевшего предком арапа Петра Великого Абрама Ганнибала.

Автор публикуемых мемуаров Александра Петровна Арапова была очень дружна с Марией Александровной Пушкиной, в замужестве Гартунг. Дочь Пушкина гостила в усадьбе ее мужа, генерала Арапова.

Я хочу вновь обратиться к страницам семейной хроники. Уточняя события в доме Пушкиных, можем ли мы вообще отказаться от мотива ревности, так настойчиво утверждаемого мемуаристкой? Разумеется, нет. Из писем явствует, что Пушкин и его жена часто упрекали друг друга, супругу попадало за прелестную графиню Надежду Львовну Соллогуб, чувства к которой он выразил в стихотворении «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...» Оправдываясь в письме, Александр Сергеевич

остроумно именовал обольстительницу из высших кругов «шкуркой». В свою очередь, Пушкин тактично просил супругу: «Женка, женка! я езжу по большим дорогам, живу по 3 месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, – для чего? – Для тебя, женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности...»

Пушкин настаивал, чтобы в его отсутствии жена не собирала в их доме мужчин, что скомпрометировало бы ее в глазах петербургской знати. Наталья Николаевна, выросшая в тиши Полотняного Завода и особняка на Никитской улице в Москве, могла не догадаться, к чему это приведет. А Пушкин не раз наблюдал, как злые языки Фамусова, Молчалина, княгини Марьи Алексеевны и иже с ними, осмеянные Грибоедовым в комедии «Горе от ума,» рушили репутации честных и незаурядных людей, подобных Чацкому, которого во всеуслышание объявили безумцем.

К несчастью, эта участь постигла его самого. Обиженная за невнимание к ней поэта внебрачная дочь графа Строганова Идалия Полетика, приходившаяся родственницей сестрам Гончаровым, расстаралась вовсю. Она пустила по Петербургу слух о романе Пушкина с Александрой Гончаровой. Стрела была меткой, она била в дальнюю мишень. Пересуды продолжались в течение многих десятилетия, дойдя до наших дней. Не миновала эта версия воспоминания Араповой. И не ее одной. Было или не было? – задают друг другу вопросы пушкинисты. Невинность Александры Николаевны отстаивают в своих книгах Ободовская и Дементьев: «Она была глубоко порядочным человеком, не способным ни на какую временную связь...» 10) А Арапова подтверждает свой рассказ тем, что якобы наблюдала в доме их старая служанка. Можно ли ей было поверить?

Право, вовсе не хочется продолжать этот спор, на то есть строка из письма Пушкина к Наталье Николаевне: «Никто не должен знать, что́ может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни».

Работая над текстом Араповой в зале Ленинской библиотеки, я часто прерывалась, растирала усталые от тусклого люминесцентного света веки

и оглядывала тех, кто сидел за соседними столиками. Они, как и я, искусствоведы, журналисты, филологи, в неброских и теплых свитерках-самовязках, прильнули к пюпитрам с подшивками газет прежних лет. Отошедшие эпохи являли себя наглядно. У меня на рисунках в «Новом времени» красовались дамы в корсетах и широкополых шляпах, у них на снимках отдавали честь пионеры, колхозница демонстрировала корзину, полную яблок, физкультурники несли на параде портреты вождей. Закончив чтение, я выходила на мороз Левобережья, к серебристым елям, к травам, прикрытым снежной поземкой, и повторяла про себя изречение: «Не навреди». Кто важнее для человека и общества – врач и историк, которые сообщат ему неблагополучный диагноз, и пусть даже их предостережение не сбудется, но люди мобилизуются и попытаются преодолеть кризис, или «спасители», кто предлагают больному вместо кардинального и горького лечения подслащенную пилюлю, и он, успокоившись, будет погружаться в болезнь, не подозревая об опасном исходе?

Еще я мысленно перелистывала учебники по литературе, по которым мы учились в школе. Отретушированные изображения классиков, отдельные цитаты из книг убеждали нас в их политической надежности. Хорошо, что не скудела и тогда земля русская на учителей. Молодой филолог, сероглазый, с густой копной волос, с широким энергичным шагом, вверг класс в пучину произведений помимо скудной учебной программы. Однажды он спросил меня:

– Скажи, когда родился Пушкин?

– Не помню.

– А свой год рождения ты знаешь?

– Да.

– А как же забыла пушкинский?

Так в отрочестве вошло в мое сознание: чтобы стать человеком, человек должен помнить две даты – день своего появления на свет и 1799 год. Чтобы ежедневно внушать себе и детям: Мой Пушкин, Мое Отечество, Моя История. Других мне не дано.

В школьную пору мы любили заниматься декламацией. Прежде чем выучить стихотворение, надо было воочию представить невероятное, как неведомый «шестикрылый серафим» разверзнул уста поэта:

И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замерзшие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвигнул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Содержание с древней символикой становилось понятным, когда мы прислушивались к тому, что объяснял наш учитель о свободе, о гласности, об «оттепели», что наступила на переломе шестидесятых годов в обществе. Мы переписывали песни Булата Окуджавы, вырезали из газеты стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина», прорывались через конную милицию и аплодировали в Лужниках Андрею Вознесенскому, Белле Ахмадулиной, Роберту Рождественскому. Акустика школьного зала усиливала звонкие голоса: «Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья...» Мы ожидали, что за капелью весны, как положено в круговороте, придет жаркое лето. Вместо этого последовало увольнение педагога из школы. Где ныне он, презиравший приспособленчество и застой? Я хочу признаться ему, схожему внешне с Александром Сергеевичем: 1799 год продолжается и не будет ему конца.

В Москве, такого-то числа...
Но есть ли Пушкину начало? –
Россия вечно им жила,
Его ждала и порождала.

Пушкинские пророчества пронизывают жизнь. Не миновали наши дни смута, междоусобица, самозванство, составляющие смысл трагедии «Борис Годунов». Не однажды повторялась в российской действительности сцена, представляющая площадь перед собором в Москве.

Юродивый
(*плачет*)
Взяли мою копеечку, обижают Николку!
Народ
Царь, царь идет.
(Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню.)
Бояре.
Юродивый
Борис, Борис, Николку дети обижают.
Царь
Подать ему милостыню. О чем он плачет?
Юродивый
Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.
Бояре
Поди прочь, дурак! схватите дурака!
Царь
Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.
(*Уходит.*)
Юродивый
(ему вслед)
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – богородица не велит.

«Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная». 11) Это высказывание более посвящено реальности, чем искусству. Изучая архивы, проникнув умом аналитика в истоки пугачевщины, Пушкин предостерегал: «Не приведи бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да своя шейка копейка». 12)

Арапова приводит в своей хронике предсказание Пушкина о насильственной смерти Александра II, освободителя крестьян от крепостной зависимости. Попытка перемен на Руси стараниями тех, кому чужая голова стоила грош, обернулась 1марта 1881 года кровью царя и находившихся от него поблизости простых людей.

Не менее волнует в воспоминаниях гадание Пушкина перед зеркалом. Как-то в сумраке вечерней поры Александр Сергеевич разглядел возникший в зазеркалье облик незнакомого ему человека в свитской форме, он с любовью глядел на его Наташу. Прошли годы. К Наталье Николаевне посватался Петр Ланской, и картина прошедшего воскресла в ней с неотразимой ясностью. Да, это было предопределено!

Горькое c'etait écrit! явственно проходило через поступки и творчество Пушкина. Еще до свидания с Гончаровой Пушкин начертал ранний уход в «Евгении Онегине». В пору болдинской осени, когда Александр Сергеевич был в ожидании предстоящей свадьбы, под его пером вставал эпилог «Каменного гостя».

Входит статуя командора.
Дона Анна падает.

Статуя

Я на зов явился.

Дон Гуан

О боже! Дона Анна!

Статуя

Брось ее,
Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.

Дон Гуан

Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.

Статуя

Дай руку.

Дон Гуан

Вот она... о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти, пусти мне руку...
Я гибну — кончено — о Дона Анна!..

Проваливаются.

Когда в Петербурге приходишь в квартиру на Мойке, работники музея рассказывают о последней примете, постигшей Пушкина 27 января 1837 года. Александр Сергеевич надел пальто, спустился по лестнице, вышел на улицу. Снежный вихрь тут же пронзил его легкие. Предстояло ехать на Черную речку, где дуло еще сильнее, и он воротился за шубой.

А в напряженный мозг стучалась поговорка: «Вернешься назад, дороги не будет».

Да и какая иная дорога могла быть у поэта в мире, потерпевшем кораблекрушение? Пушкин, подобно античному певцу Ариону, оставался после бури один на берегу, а его товарищи вступили на плаху, томились на каторге в Сибири.

Пушкин словно хотел быть ближе к ним, когда снял квартиру в доме, откуда уехала к мужу Сергею Григорьевичу, сосланному в Нерчинские рудники, Мария Николаевна Волконская. В примыкавшем к нему здании жил Иван Иванович Пущин. И пусть, как в юные годы, им нельзя было переговорить через стеночку лицейской спальни, но Пушкин ощущал присутствие первого бесценного друга. Их соединила весточка, которую Александр Сергеевич послал через Александрину Муравьеву в Читинский острог.

В минутах ходьбы от Мойки — Сенатская площадь с силуэтом взметнувшегося в дерзком прыжке всадника. «День был сумрачный — ветер дул холодный. Солдаты, затянутые в парадную форму с 5 часов утра, стояли на площади уже более 7 часов. Со всех сторон мы были окружены войсками», — 13) читаем в воспоминаниях декабриста Михаила Бестужева. Пушкин рванулся из Михайловского навстречу свежей студеной струе, провидение повернуло его с полдороги. Чтобы оставить в живых, пусть до поры.

Поэт Петр Андреевич Вяземский сравнил восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года со страшным судом для дел, мнений настоящих и давно минувших. Художник Карл Брюллов создал картину «Гибель Помпеи», где воплощен конец света. Артист Павел Мочалов вышел на сцену в роли Гамлета, обратившись в зрительный зал: «Страшно. За человека страшно мне». Так восприняли современники Пушкина происходившее в Петербурге, когда были отброшены общественные идеи, которые могли преобразоваться в новый социальный уклад, и как при закупорке вен, Россия дыбилась от неразрешимых противоречий.

Трагедия — короткое слово-диагноз. Пушкин ценил в европейской литературе гуманизм Шекспира, шел его сценическими законами. Совпадение и последовательность — завершающая строка «Гамлета»: «Дальше тишина», завершающая ремарка «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует».

То, что случилось в январе 1837 года вокруг квартиры Пушкина на Мойке, тоже напоминает о завязке шекспировской драматургии. В ее неумолимый ход оказались втянуты все: царский двор, знать, родные, знакомые и вовсе незнакомые, среди них ни о чем не подозревавший Ланской, которого его приятельница Идалия Полетика попросила посторожить покой дома, где происходило свидание Пушкиной с Дантесом, послужившее поводом к дуэли.

Что за пелена покрыла зрение Натальи Николаевны, что за магнит сковал ее движения, и она не скинула маску лицемерия, прилипшую к лицу любимчика дам, этакого «французика из Бордо», который отправился покорять северную страну и поднял руку на ее святыню? Никогда потом она не могла простить себе постигшего ее затмения. Был ли в том ее грех? Была ли вина на семье Вяземских, знавших о дуэли и не сообщивших ей, на секунданте Пушкина, его лицейском сокурснике Константине Данзасе, не остановившем пулю в смертельном полете?

Не будь импортной подделки и себялюбца Дантеса, отыскался бы собственный злобный Мартынов, ведь нашелся петроградский свинец для Николая Гумилева, Гулаг для Осипа Мандельштама, веревка Елабуги для Марины Цветаевой. Погиб поэт, невольник чести — не смолкает колокол Реквиема.

Играть на мне нельзя — слышится в дневниковых записях Пушкина. Тем не менее новоявленные Розенкранцы и Гильдестерны, именуемые Бенкендорфами и Геккернами, играли, издавая фальшивые звуки на драгоценной флейте. И Пушкин надевал унижавший его мундир камер-юнкера, отправлял письма жене, заведомо зная, что они будут перехвачены. Приведем страницу дневника Александра Сергеевича, которая передает его переживания: «10 мая. Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и, нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом не официальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также

его не понял. К счастию, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоилось. Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного...» 14)

Круг очерчивался, смыкался, сжавшийся запор «мышеловки» не отпускал навсегда из душных петербургских салонов на чистый воздух Болдино, к ясной и быстрой речке Сороти, к корабельной мощи соснам Михайловского, знававшим поступь его родичей Ганнибалов. Нужное становилось ненужным, найденное хотелось потерять. И Пушкин выбрал «быть» в противовес безликому «не быть». В этом великий смысл его Дуэли.

Отходя в молитве к Богу, он ведал, что зло не будет наказуемо, что трагедия только на сцене по воле драматурга и театра имеет разрешающий финал, у жизни его не бывает. За его вдовой будет тянуться шлейф Эльсинора, затягивая в тонкую сеть тех, кто окажется с ней рядом, даже детей.

Во время путешествия вместе с матерью и отцом дочь нашла в гостинице книгу, где упоминалось имя Гончаровой. Азя обрадованно принесла ее в комнату родителей, внезапно лицо матери покрылось слезами, прочтенное было несправедливым людским приговором ее отношений с поэтом. Наталье Николаевне не простили, что она нарушила траур и по завещанию Пушкина, во имя того, чтобы его дети были достойно воспитаны, обвенчалась с другим.

Александра Петровна Арапова воссоздает в мемуарах доброжелательную обстановку в доме Ланских, которой она была участницей. Это лучшие страницы, где проявился ее талант повествователя, примеченный еще в давнюю пору Петром Андреевичем Вяземским. Для ее отца оказались дороги Саша, Маша, Гриша, Наташа Пушкины, он растил их на равных вместе с тремя своими дочерьми Александрой, Софьей, Елизаветой. Петр Петрович постарался дать им достойное образование, вывести в люди, переживал вместе с Натальей Николаевной их семейную жизнь, в ней был и свет, были и печали. Ланской принимал жену такой, какая она есть. Он ощущал, что она по-прежнему предана Пушкину и погружается в глубины себя в дни его памяти. Красота ее не увядала, даже неизлечимая болезнь не тронула ее лица.

В свои последние мгновения Наталья Николаевна обращалась к оставляемой ею большой семье: «Превозмогая страдания, преисполненное любовью материнское сердце терзалось страхом перед тем, что готовит грядущее покидаемым ею детям». Россия не оставила их без участия. Род Пушкиных разросся, его потомки делают все возможное, чтобы мир чтил их прапрадеда. Доброго здоровья всем Пушкиным!

Александр Сергеевич Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие... Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» 15)

Последуем этому завету. Ради Поэта и нас — звена в цепочке между исполненным и грядущим днем.

Галина Пикулева



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина. М., 1980, с. 85.
2. Пушкин А. Письма к жене. Л., 1987, с. 37.
3. Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина, с. 171.
4. Вересаев В. Спутники Пушкина. М., 1993, т. 2, с. 484.
5. Друзья Пушкина. М., 1986, т. 2, с. 449–450.
6. Пушкин А. Письма к жене., с. 10.
7. Там же, с. 124.
8. Там же, с. 9.
9. Письма Пушкина здесь и далее цитируются по указанному выше источнику.
10. Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина., с. 246.
11. Асеев Б. История русского драматического театра первой половины XIX века. М., 1986, с. 98.
12. Пушкин А. Полн. собр. соч. М., 1964, т. 6, с.556.
13. Декабристы и Сибирь. М., 1988, с. 59.
14. Пушкин А. Дневники. Автобиографическая проза. М., 1989, с. 67-68.
15. Там же, с. 109.

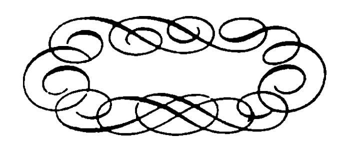
В текст послесловия включены отрывки из стихотворений Н. Муравьева «6-е июня 1799 года», М. Сергеева «Наталия Гончарова».



Содержание

Александра АРАПОВА

Наталья Николаевна ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ



Редактор
БЫЧКОВ Ю. А.

Художник
ЛЕОНОВ Ю. Б.

Технический редактор
ЛЕОНОВА Т. В.

Корректор
АЛЕКСЕЕВА В. И.



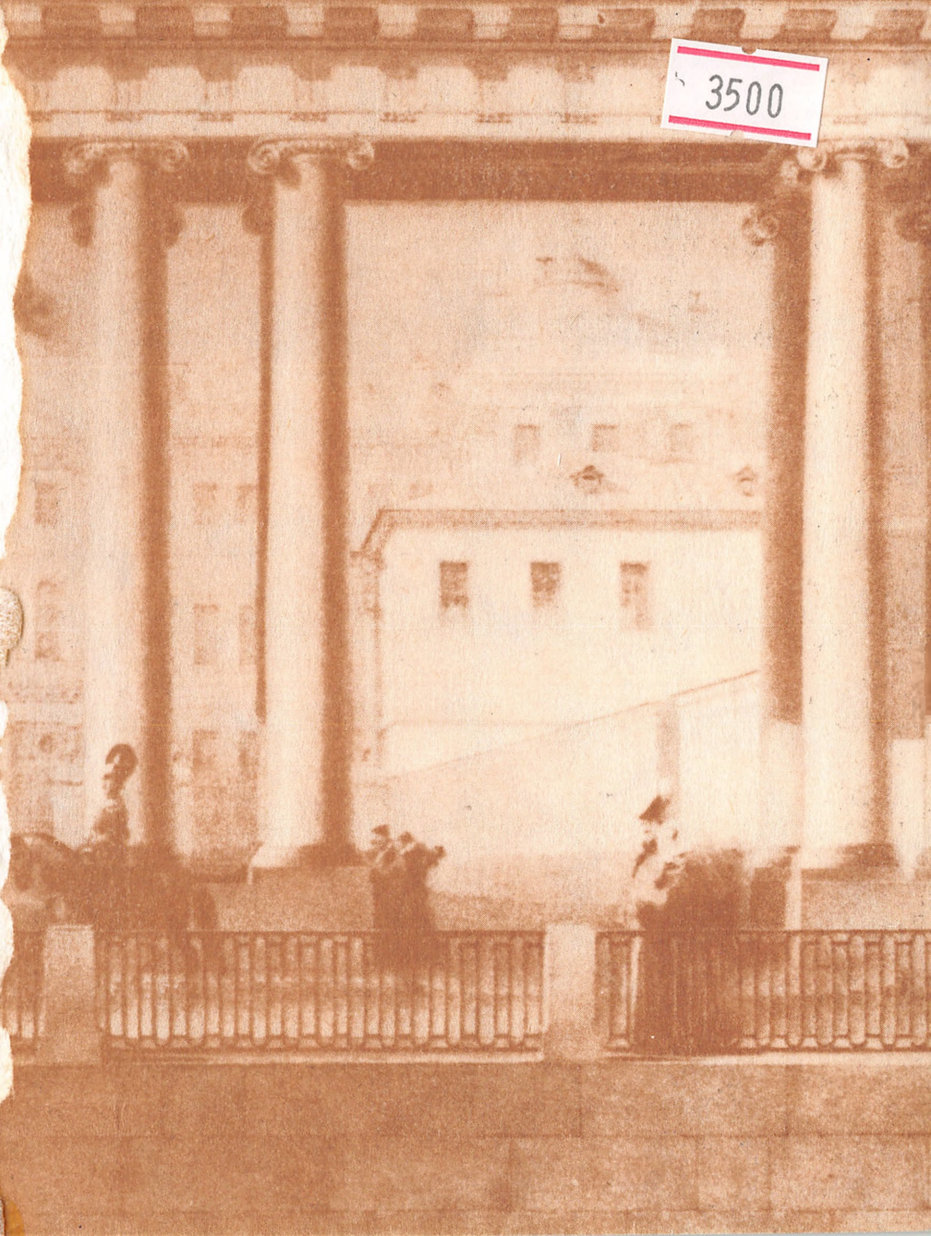
МПФ «Демиург» совместно с ТОО «Изограф» готовит к изданию дневники и записные книжки А. С. Пушкина, В. К. Кюхельбекера, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова

В. С. Садовников

Петербург. Аничков дворец. 1838 г.

Формат 70×108/32. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Объем 4 п. л. + вкладка.
Бумага офсетная.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 196

Отпечатано в Московской типографии № 13
Комитета РФ по печати.
107005, Москва, Денисовский пер., д. 30.



Александра Арапова

Наталья Николаевна Пушкина-Ланская

